

● ПРЕДЛАГАЕТ ХИМЧИСТКА

Если Ваша одежда потрескивает, притягивается к телу, значит на ней скопилось статическое электричество.

На предприятиях химчистки такую одежду обработают антистатиком, снимут электрический заряд.

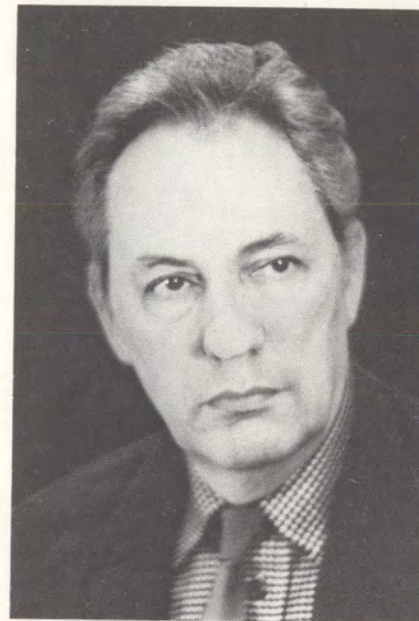
Росбытреклама



ОГОНЁК

№ 28

1988



Лазарь КАРЕЛИН

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

ПОДСНЕЖНИК

Лазарь КАРЕЛИН

ПОДСНЕЖНИК

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1988

Лазарь КАРЕЛИН

Лазарь Викторович Карелин родился в 1920 году в Москве. Образование получил во ВГИКе, где окончил сценарный факультет. Участник Великой Отечественной войны.

Самый первый его рассказ «Наш новый учитель» был опубликован в «Огоньке».

Лазарь Карелин автор многих повестей и романов, таких, как «Младший советник юстиции», «Землетрясение», «Стажер», «Змеелов», «Последний переулочек», и напечатанных в журнале «Огонек» романов «Даю уроки» и «Даю уроки-2».

Настоящий сборник составлен из рассказов, написанных в разное время. И в жанре рассказа автор остается верен теме современности.

МЕМОУАРЫ

Сергей Федорович Поранин готовился к этому дню не без трепета. Но верно ли будет назвать день выхода человека на пенсию — всего лишь именно днем, некоей точно обозначенной датой? Не так все просто. Приказ об уходе на пенсию действительно помечен конкретной датой, но сколько их было, этих дней — до и сколько их еще будет — после, прежде чем все в тебе уляжется, утрясется, обретет ритм будничной жизни и ты сам для себя обретишь этот день. Жить-то дальше ведь надобно. Жить без привычной работы, без привычных людей вокруг, без привычных привычек во всякой малости. Жить еще надобно. И даже, может быть, не так уж и серо, по нисходящей. В том-то и дело, чтобы не по нисходящей покатались дальше твои деньки. Потому-то и страх берет, потому-то и нужна исподволь подготовка. До решения, в час решения и после, уже потом, уже когда остынешь.

Сергей Федорович долго готовился, чтобы не очень шибко удариться лбом о вдруг наступившую тишину, об этот отдых желанный, об этот барьер бездеятельности. И прежде всего он готовился к деятельности. В том-то и суть, что к деятельности. Это ему и внушало мужество перед шагом в небытие. Он знал, он верил, что по ту сторону черты у него будет дело. И дело не малое. Он готовил себя к писанию мемуаров. Не улыбайтесь. Да, конечно, нынче кто не пишет мемуаров. Просто повальное это бедствие стало — писание мемуаров. И те пишут, кому есть что вспомнить, чья жизнь не без интереса для других, но и те пишут, кто жизнь прожил ничем не примечательную, а стало быть, непригодную для мемуаров. Вспоминать, так уж нечто значительное вспоминать. Не правда ли? А иначе кому интересно, что там с тобой бывало, о человек. Мемуары пишутся не для себя одного.

Сергей Федорович верил, что ему есть что вспомнить. И не для себя, а в поучение и наставление потомству. Он жизнь прожил не пустую, не серую. Он в это свято веровал. Впрочем, справедливости ради, а кто себе признается, что прожил жизнь зазря? Одно из тягчайших открытий — такое признание. Одно из тягчайших поражений всей жизни. Нет, Сергей Федорович хоть и не был он каким-то там великим гражданином, но был все же заметным гражданином и жизнь свою желал

и смел оглядеть. Мемуары... К ним-то и потянулся он всеми силами души, выйдя на пенсию. Это дело и было отныне его делом на земле.

И настал день...

У Сергея Федоровича была дачка, нажитая трудами праведными. Или еще так: заслуженная, а не выслуженная. Вот на этой дачке он и решил уединиться, погрузив себя в работу.

Осень уже началась. Его так просили подгадать с выходом на пенсию, чтобы мог он летом подменить кой-кого из своих ответственных коллег, отправлявшихся в отпуск. Он не возражал. В последние месяцы работы он не только подменял одного или другого из коллег в пору их отпуска, а он вообще так рванул, так по-молодому себя выказал, что его и отпускать не хотели, хотя все давным-давно было сговорено. Уходить надо было с честью, оставляя о себе добрую память. Уходить надо было победоносно. Так он и ушел. И на прощальном ужине все об этом и говорили в один голос. Спешись, мол, Сергей Федорович. Мог бы, мог бы еще и потрудиться. Нужен ты нам еще. Запаримся мы без тебя.

Желанные речи! Не похоронные. Не те вот, когда в них одно только «был» мелькает. Не «был», а «есть». Жалеете? Удерживаете? Бойтесь запариться без меня? Верю, верю вам. А что, может, и запаритесь. Но мне — пора, но мне-то приспело. Есть еще дело у меня на земле. Долг надобно отдать...

Вот как гордо ушел на пенсию Сергей Федорович. Как вовремя. И хотя — скажем тут толику правды — далеко не всеми был он любим на своей службе, далеко не всеми даже и ценим, — всем ведь не угодишь! — а все же ушел он так именно элегантно, так по-мужски, что ли, и уж наверняка так по-умному, что хор сожалеющих голосов напрочь заглушал шепоток неблагожелателей.

Да, осень, осень уже началась... Он пометил на листе бумаги этот день и час этот, когда уселся за письменный стол, чтобы начать работу. Он знал, что в путь пускается долгий и трудный. Наслышан был, как оно не просто, дело это, за которое принимался. Готовясь, почитал кое-что. Всяких там маршалов и знаменитостей, которые время от времени одаривали мир своими мемуарами. Читая, примечал, как трудно иной из авторов карабкался от фразы к фразе. Примечал и когда кто кривил душой, маневрировал, уклоняясь от истины, вдруг вприпрыжку припускал как раз там, где надо бы было двигаться медленно и обстоятельно. Все примечал Сергей Федорович. Зорек был. Да и опытен. И хотя никаким никогда не был литератором, но силу фразы понимал, но умение так как-то поставить слово, чтобы оно во всей странице стало заглавным, — было ему ведомо, ибо понаписал он за свою многолетнюю служебную деятельность в избытке всяческих писем, приказов и докладных записок, где, — нет, не художественно, зачем же, — но цели своей умел добиться. Надо — умел и отстегать фразой. Надо — и иронию в казенный документ подпустить. Может, оно и не художественно у него выходило, но проникало до костей. Да и то сказать, что есть художест-

венность? Если человека от твоего приказа в краску бросает, — так разве это не художественно исполненный документ? Спросите любого, кто в этом смыслит, и всяк такой знающий человек обязательно подтвердит, что все эти исходящие в ответ на входящие — это тоже литература, требующая изощренного порою мастерства.

Впрочем, Сергей Федорович отлично понимал, что ныне он совсем за новое для себя дело берется, что опыт его писательский следует если не вовсе забыть, то в сторонку отставить, ибо иным совсем писательством предстояло ему заняться. И если уж и можно будет назвать ту работу, за которую он принимался, так сказать, документом исходящим, то уж воистину исходящим, — не от учреждения, не от должностного лица, а из самого себя. Исповедь? И исповедь тоже. Мемуары — емкое слово. Вспоминать так уж вспоминать.

Стол у него стоял перед широким окном в сад. Сергей Федорович это окно совсем недавно таким сделал: чуть ли не во всю стену и чуть ли не от пола до потолка. А раньше окошко было обыкновенным, изыбных размеров, держало тепло, но скупилось на свет. Готовясь, исподволь готовясь к новой своей работе, Сергей Федорович решил прорубить окно во всю стену. Дача ведь теперь становилась и местом работы. Сад за стеклом — теперь уже должен был стать в той работе помощником. Теперь всякая малость должна была быть учтена, чтобы пошире да позорче было на душе работающему в этой комнате человеку. Там, на службе, Сергей Федорович множество приспособлений внедрил в своем кабинете, чтобы они способствовали успешной работе. Вторую дверь велел поставить для тишины. Ковер постлать — для той же цели. У телефонов сбавил звонки... А, да что вспоминать! Тот кабинет уже позади, за спиной, за чертой. Господи, а ведь вся та жизнь, — да какая, да еще какая! — а ведь вся она за спиной. Да, да, любезнейший, именно так, за спиной. Но вот затем-то и усаживаешься сейчас ты за свой домашний письменный стол, а чтобы и себе самому и другим многим показать и доказать, что жизнь та прожита не зря. Докажешь — и все равно что дальше пойдешь. Мемуары — это взгляд назад, чтобы шагнуть вперед. Мемуары — это ведь то, что может остаться после тебя. Разумеется, если жизнь припомнил ты настоящую и изложил ее по-настоящему. Дерзнем, а? Углубимся?

Сергей Федорович в отсвете оконного стекла увидел свое неясное отражение и покивал себе в том стекле, себя ободряя. Он жалостью вдруг к себе проникся. Вот ведь, и отдохнуть бы пора, а снова горбиться за письменным столом. И снова чистый лист бумаги перед ним и горсть карандашей отточенных в стаканчике и горка всяких ластиков под рукой. Сергей Федорович привык писать тонко отточенными карандашами, часто подключая к работе ластик, дабы не просто перечеркнуть, а изъять непонравившееся слово. Да, жаль ему себя стало, но и не без гордости подумалось: «Еще поработаем, еще поработаем! Надо!»

Готовясь к своей итоговой работе, Сергей Федорович и бумагой преотличной запасся и всяческими там блокнотами, на случай, если по-

надобится делать выписки, если иная какая фраза застанет его в пути. В семье даже обычай с недавних пор установился дарить ему на день рождения и на Новый год исключительно лишь предметы, связанные с писательством. Порой это были весьма дорогие предметы. Ему был подарен диктофон. Сына подарок. А жена, изыскивая где-то на своей службе добычливого сослуживца, одаривала Сергея Федоровича разными диковинными шариковыми ручками и фломастерами всех цветов и размеров. И сослуживцы тоже включились в эту заботу, тоже одаривая Сергея Федоровича ручками, ластиками, карандашами, фломастерами, свозя их к нему со всех концов земного шара. Было приятно дарить человеку то, что ему по сердцу, а тебе по карману. Готовясь к своей итоговой работе, Сергей Федорович, таким образом, все предусмотрел и обдумал. И место работы и орудия труда — все изготовил. Но вот в самую работу свою еще не заглянул. Вся глыба жизни его была для него еще как бы занавесью. Не было у него ни разобранных архивов, ни фотографий, подложенных по годам. С этим он медлил. А может, ему казалось, что стоит лишь сесть за стол, как память и начнет услужливо разматывать перед ним всю ту дорожку, будто то ковровая дорожка, имя которой Жизнь? А может, он оберегал себя до поры от тех нешуточных усилий памяти и души, какие потребны, когда ворошишь, то бишь систематизируешь свою жизнь? До поры, до той поры, когда эта работа и станет его главной задачей? Скорее всего, как всякий деятельный человек, он не мог себя раздвигать и, живя повседневностью, не мог, вернее, не умел жить еще и в прошлом. То — прошлое, прожитое — пребывало пока в запасе, копилось пока с каждым новым годом жизни, накапливая итог, как монеты копят в копилке, который, когда копилку раскроют, может оказаться радостно значительным. Да, сравнение с копилкой самое верное. Сергей Федорович не хотел заглядывать в копилку своей жизни, как это делают некоторые скупцы, то и дело пересчитывающие монетки. Он жил, и итог копился, чтобы нежданно вывить себя, когда придет время раскрыть копилку или даже сломать ее и все разом высыпать на кровать. Как в детстве когда-то... Помните эти копилки, которые продавались в сберегательных кассах, никелированные эти бочонки с гербом Советского Союза? Помните? И как же было радостно вдруг обнаружить, что у тебя в бочонке скопилось куда больше монеток, чем ты полагал. Скупым людям такая радость не дана. Они наперед все подсчитывают. Сергей Федорович был не скупым, жил не скупясь. По-разному жил. Всякое было. Ну-ка, копилочка, пришло время, высыпай свои богатства. Вот сюда, на этот стол перед широким окном в сад. И пусть эти три березы, старые березы, постарше его самого, будут понятыми при вскрытии. И эти смородиновые кусты — он сам их сажал — пусть тоже побудут в свидетелях. Начнем считать наше золото.

Первая фраза далась легко, она уже давно была готова, вытвержена.

«Я родился в Москве, в 1906 году, и был у отца с матерью пятым ребенком, а отец мой был всего лишь скромным конторским служа-

щим». К первой фразе легко примкнула и вторая: «Мы жили неподалеку от Яузы, в одном из Таганских тупиков, в собственном доме, но в очень бедном, ветхом, об одном этаже, унаследованном матерью, отец которой тоже был из мелких чиновников».

Написалась эта вторая фраза, и встал вдруг перед глазами солнцем залитый зеленый лужок во дворе, где один к одному громоздились серые сараи, где куры погуливали, а посередине выбитой, без травинки, площадки высилась странная какая-то башня, в ярко-синий окрашенная цвет. Что за двор? Что за башня? Отчего вдруг вспомнился этот зеленый лужок в серой обступе сараев? Откуда все взялось?

Сергей Федорович никогда так далеко не заглядывал в свое детство. Он дом родительский на Таганке не помнил, они съезжали оттуда чуть ли не в пору Сережиного младенчества. И вдруг этот двор, эта синяя башня, в которой нельзя не узнать голубятню, и этот мысок зеленый, посреди которого он сам, он, крохотный и беспечальный, зажавший — увиделось! — пучок травинки в белесом кулачке. Увиделось! Миг тот солнечный, летний кинулся в ноздри, дохнув пылью и травой. Пылью не нынешней, не бензиновой, а будто пропахшей молодым лошадиным потом. И травой не нынешней, что без запаха, а остро дохнувшей в ноздри, будто корова рядом отрыгнула свою зеленую жвачку. Быть не может?! Откуда?! Вскинулся Сергей Федорович, чуть что не испугался. И замер с испуганным и растроганным лицом.

— Маша! — позвал он жену, забыв, что жена в Москве. — Маша!

Вот ведь, только начал свою работу, только первые две фразы написал, а память, а душа уже кинулись ему на помощь. И такое открыли, приоткрыли, о чем никогда во всю свою жизнь он и ведать не ведал. Добрый признак! Пойдет работа!

За распахнутым окном березы шелестели пожухлыми листьями. Оттуда, из сада, банькой подувало, но и несло какой-то чертовой химией. Той самой, из-за которой нынче огурец не огурец и помидор не помидор. А в ноздрах все еще жило детство, забытая пора. И душа встрепенулась. И двинулась рука по листу, по превосходной мелованной бумаге, на которой обычно отбивались первые экземпляры наиболее важных писем к наиболее начальственным лицам. Сергей Федорович специально обзавелся такой бумагой, она требовала максимальной отмобилизованности.

Детство... Собственно, он не собирался на нем задерживаться в своих мемуарах. Он мысленно проскакивал этот период жизни. Он и в рассказах близким и друзьям этот порожек жизни переступал без задержки. Родился там-то и в такой-то семье — и все. А вот подсел лишь к столу, а оно и встало перед глазами. И двинулась рука, лепя букву к букве, неожиданные рождая слова. Не знал Сергей Федорович, что просто способен на иные из этих слов, что такие может извлечь из себя фразы. Писал и дивился. И в азарт входил. И в счастье. Ах, как хорошо! Как неожиданно!

Вдруг вспомнилась тетя Клава какая-то. Как — какая-то? Да тетя ж Клава, мамина сестра. бобылка, монашка, что воспитала его, выходила. Ее руки вдруг выступили из тьмы забвения. Ее лицо под черным платочком. Прислушался Сергей Федорович, не заговорит ли? Нет, из дали той голос не раздался. Шевельнулись губы, но и все, без звука. А лицо, а глаза увиделись. Будто стоит тетя Клава у одной из берез, будто подперла рукой щеку, будто смотрит на него, на нынешнего. Печальная стоит и родная.

Слезы стали в глазах у Сергея Федоровича. Укоряла его тетя Клава, он понял, — укоряла. Как же мог ты забыть, должно быть, говорили ее губы. Как же это ты мог жизнь прожить без корней?

Оправдаться надобно было. Не медля должен он был оправдаться. И Сергей Федорович вслух ответил, в даль ту взглянув:

— Да тетя ж Клава, время-то какое было! Вспомни-ка, расшвыряло всю нашу семью. Кто где, и поныне не ведаю.

«А ты развеживал? — спросила от березы тетя Клава. — Ты матери-то хоть глаза закрыл?»

— Так время-то какое было!..

Истаяло у белого ствола и того блее лицо тети Клавы. Подался вперед Сергей Федорович, очки схватил для дали. Да ну что там, помешалось. Сучочек вот этот кривенький, да от коры завиток — вот и вся она, тетя Клава.

— Нервы! Воображение! — все еще вслух определил свое состояние Сергей Федорович. И огорчился. — Вот и вслух даже разговариваю сам с собой.

Он поплотнее уселся в кресло, придвинул стопу листов к себе, перечел написанное. Задумался. А откуда он раздумывал, правая рука привычно выпустила из пальцев карандаш и вооружилась ластиком. А левая, привычно же, легла на лист бумаги, прижав его ладонью. Коль раздумье возникло, то, стало быть, и сомнение рядом. А сомнению не долго жить, за ним решение последует. Решение — это ластик в дело, чтобы избавиться от сомнений. Привычка в работе над документами владела сейчас руками Сергея Федоровича. И он еще опомниться не успел, как ластик зашуршал, заелозил, стирая какие-то в сомнение вводящие слова. И Сергей Федорович так еще и не опомнился, как всем фразам на мелованном листе, кроме первых двух, пришел конец. Хорошо сработала резинка, себя не жалея. Сергей Федорович глянул на ластик, на кохиноровский этот чудо-ластик и подумал, очень веруя в привычную импульсивность своих движений. «А ведь верно, не туда сразу свернул, на беллетристику потянуло. Нет, милые, я вам не беллетрист».

С кем он спорил? Кто были те «милые»? Он бы и сам не сумел ответить. Как бы там ни было, он с кем-то спорил и в споре одержал верх. Беллетристике на первой же странице его мемуаров был дан от ворот поворот.

Итак, две фразы остались, а далее — чуть посеревшая белая гладь.

Тетя Клава, тетя Клава... Монашка ведь и верно. А в те годы было строго с этим. В те, уже после революции. Такую родню поминать было незачем. Да и вся материнская линия — купеческого корня. Хотя и не шибко богатые были негоцианты, а все ж таки... Незачем, незачем! Вот он тогда и забыл об этой линии, перескочил ступеньку. Что ж, можно ли было его упрекать за это? Тогда?

Сергей Федорович тихонько pokrutil головой, прищурился улыбочиво, сам себя припоминая тогдашнего, лет эдак восемнадцати — двадцати. В юнгштурмовке, подтянутый, а ворот нараспашку. И рот чуть приоткрыт. Яркогубый, яркоглазый, распахнутый навстречу всем ветрам. Ах, какая жизнь была! Как все закручивалось!

Сергей Федорович отомкнул правый ящик стола, вывалил на стол грудку фотографий. Долго искать ему не пришлось. Паренек в юнгштурмовке, будто и у фотографий есть свои локти, сам выпростался из груды и — вот он я! Верно, ворот распахнут, глаза распахнуты — залюбуешься. Чуть пухловатые губы, правда, хоть и выцвела фотография, а виден этот белесый пушок над верхней губой, — птенец, да и только. Но вот ведь, птенчиком казался, стареющих дам своим видом в трепет вводил, а по жизни шел, помнится, уверенно, взросло, не мельтеша. Сын его единственный, его Федор, в такие-то годы был еще тюня тюней. Время иное. Опеки больше. Папочки да мамочки. А нет папочек, так в коллективе опекуны найдутся. Иного всю жизнь под локоток ведут. До инженерного диплома все под руки. И даже и после. Нынче, глядишь, и лыс и за тридцать, а в молодых все ходит. В юношах. Нет, в те поры сразу как-то люди взрослели. В двадцать лет полками командовали. К тридцати губернии целые взваливали на плечи. Горели, пламенем горели люди.

Бумага звала, рука сжимала карандаш, подрагивая. Вот-вот вспыхнет слово, вытянется во всю ширь листа фраза. О годах тех. Но фраза не шла. Подрагивал карандаш в пальцах, а фразы не было. Вспомнилось вдруг, когда вот понадобилось написать об этом, вспомнилось вдруг то время, но как-то по-необычному вспомнилось, а не так, как рассказывалось, и многожды, — и жене, и сыну, и сослуживцам. Те рассказы были чуть что не затвержены, в тех рассказах жил этот вот малый в юнгштурмовке, миляга этот, на которого и самому любо смотреть, и самому не верится, что был ты таким. Те рассказы были под стать фотографии. Победоносные какие-то они были, эти рассказы о далеком его житье-бытье, о том, каким был смолodu. Записать их, что ли? Но не шли слова на бумагу, из тех рассказов. Вот странность, для бумаги, чтобы записалось и навек осталось, надобны были иные какие-то слова. А какие? А те, которыми бы можно было поведать о жизни былой всю правду. Вспомнилась та жизнь, теперь она вспомнилась. И рассказы затверженные померкли. Чуть-чуть не то, не так, не по правде им сказывалось. За давностью лет он и сам уверовал, что правду творит, а нет, он легенду творил. Ведь на гражданской-то он не был. Не поспел, молод был, в том его вины нет. Но за давностью лет стало ему казаться, что он все ж таки по-

спел. Героем не стал, а все ж таки... И ведь в армии-то он служил — это правда. Не в 22-м, нет, но в 25-м. В три годика всего сдвиг, да, жаль, годики эти все и определили. В своих рассказах он привык — и сам в то уверовал — добавлять себе эти три всего года: он-де смолоду крепким был, что было правдой, старше своих лет казался, что тоже было правдой, и он, мол, на призывном пункте себе три эти года и прибавил, а вот это было неправдой. Но все же в армии он служил, ведь служил. Вон сколько у него фотографий, где он в форме армейской, где с друзьями он на погранзаставе. И хоть и кончилась к тому времени гражданская война, но на границе-то было неспокойно. И, помнится, пришлось раз ему быть в дозоре, когда совсем рядом, когда приятель его, сосед по койке, Гришка Ершов собственноручно поймал нарушителя. Ведь было же, было. А на иных границах и бои еще шли с басмачами и белогвардейскими бандами. Годы прошли, десятилетия, и за давностью лет и самому стало казаться, что и он тоже участвовал в этих боях. Мог же быть, если бы подвезло. Мог бы, конечно. Но не подвезло. В жизни не подвезло, так в рассказах хоть можно было выправить эту несправедливость. И в рассказах, от года к году, становился он все более зрелым воином. Нет, не героем, а все ж таки... Лгал? Да как вам сказать... Уверовал во все это, сам уверовал. А где вера, там и правда.

Но только не для бумаги, не для той затеи, которой жил сейчас, не для мемуаров. Вспомнилось, все вдруг вспомнилось. Как тот зеленый мысок во дворе из позабытого детства, как тетя Клава-монашка, почудившаяся среди берез. Глянул Сергей Федорович — не стоит ли она снова там, не корит ли взглядом. Слава богу, не было ее. Сучочек кривенький да завиток коры — и вся тетя Клава. Не было ее возле берез, но зажила она в памяти. И юноша этот в юнгштурмовке ожил в памяти. И время то первозданное вспыхнуло, увиделось. Загудело, замельтешило, чуть что не запахло...

В армии он прослужил недолго. Демобилизовали, послали учиться. Снова Москва, общежитие, хоть и был он коренным москвичом, рабфак. А там и университет. В анкетах он тогда писал о себе скупое. Отца с матерью потерял в гражданскую... Из служащих... Демобилизован... Служил на границе...

Родных было в городе полно, но с родными не знался, разошлись пути. И мать еще была жива, ютилась у тети Клавы в Кимрах. И мать не наведывал из-за этой вот из-за тети Клавы, бывшей монашки. А женщины и не трогали его, смирились. Должно быть, сами понимали, что могут стать своему Сереженьке обузой. Так и ушли из жизни, в неведомо для него какой час. Вот она правда! Жива была мать, а он ее уже и похоронил в своей анкете. Бедствовала, может, голодала, а он... Вот она правда! Мимо, мимо тех дней, сил нет в них жить! Мимо! Дальше!

Березы перед окном, старые, старше его. Ветер, что ли, там, за окном. Расшелестелись березы, переговариваются. И словно дивятся

ему, хозяину. Что это он нынче так погрузнел за столом, что это он все головой трясет, будто осы на него накинлись?

Дальше годы шли добрые, легкие. Учился, женился. Стоп! Вот про это, про то, как женился, надо бы записать. А что, собственно, записывать-то? Задумался Сергей Федорович. Миллион таких историй, как у него с Машей, можно набрать,— и все на бумагу? Он — студент, она — студентка, он — на третьем курсе, она — только поступила. Встретились на какой-то танцульке, проводил домой. В другой раз позвала к себе в гости. Жила она с родителями, но у нее была своя комната. В те времена большая редкость для Москвы — отдельная комната у девушки. Казалось, вся страна хлынула в Москву. А город новыми домами еще не обзавелся. Тесно жили москвичи. В некогда барских квартирах по пять, по шесть семей селилось. А у Маши была комната. С фонарем-окном в тихий переулок. Широко было видно из этого окна. Купола Кремлевские были видны. И трамвайчик, бегущий по Арбату. И россыпь Смоленского рынка. Помнится, как встал он у этого окна в первый раз, так и замер. И пахло в Машинной комнате хорошо, чистой пахло. И всюду были вышивки, занавесочки, накидочки. Сердце сжалось, как захотелось тут остаться. Он и остался. Не в первый день, но вскоре.

Любил ли он Машу? Не вспомнить уже за давностью лет, какая она и была тогда. Сергей Федорович порылся в папке с фотографиями, отыскивая Машу той поры. Вот она, стоит у какого-то частокола, руки на груди сложила, коса вокруг головы. Смотрит куда-то, прищурилась от солнца. Незнакомая, совсем неизвестная девушка. Выцвела фотография, не углядеть в лице нынешних Машиных черт, да и изменилась очень, и косы той нет давно, и руки так нынче не складывает. Стать уж нынче совсем не та. Так любил ли он эту неизвестную девушку? Забылось... Кажется... В тумане все. И не проступит в этом тумане хоть единая какая-нибудь памятная примета, чтобы все разом и вспомнилось. Вот комната вспомнилась, Машин отец вдруг вспомнился, каким был тогда, а был он тогда совсем молодым, крепким, горластым, усмешливым. Ну, а Маша, Маша?.. Всегда рядом, всегда перед глазами — вот и забылась та, юная, с которой порешил жизнь разделить. Господи, вдуматься только, на целую жизнь с человеком себя связал, а вспомнить миг тот первый, когда любовь пришла, когда «да» она ему сказала, а вспомнить миг тот не может. Глаза ее, голос, губы... Ушло из памяти. Трамвайчик, что бежал по Арбату, вдруг в ушах затрезвонил, а Машин голос молодой позабыл. Любил ли? Смолоду-то хоть?

Помнится, закрутился он тогда, как переехал к ней. Отец ее над ним шефство взял. Запряг разом да присвистнул. А ну, парень, рви вперед! Сергей Федорович и рванул. Университет побоку, нужда в людях, толковых работников, а ты тут в студентиках прогуливаешься. Служить иди. Хватит для анкеты и незаконченного высшего. Тесть и службу приискал. Тесть и подталкивал умело, когда первые начали ложиться под ноги ступеньки. Вверх, вверх, зятек, не плошай! Начал с малого, в по-

мощниках у управделами одного совсем не из главных тогда наркоматов. Чуть что не в холуях сперва очутился. Жене своего начальника провизию с рынка таскал, шпица, бывало, прогуливал. Сгинул тот начальник, сгубил его нэп. И другой сгинул и третий... девятый. Лица, лица, — мельтешня просто из лиц перед глазами. А ступеньки все выше, выше, и вот уж и сам он управделами, и министерство его, то делясь, то укрупняясь, то сая окрещенное, то эдак, то в одном здании пребывая, то в другом, — а министерство его уже без своего Сергея Федоровича Поранина, кажется, и дня бы прожить не смогло б. Незаменим. Несменяем. Наркомы и министры — где они? А он — тут. Замы все эти, члены все эти коллегий — где они? А он — тут. Советники, консультанты, светила и восходящие звезды — где они? Промелькнули, отгорели. А он — тут. И уж давным-давно стало привычным в том министерстве и узаконилось, что ежели надумал ты достигнуть успеха в своем деле, то заручись поддержкой Сергея Федоровича Поранина. И не его будто забота, не его круг обязанностей, а без него воз и ныне там. Так было, так шло до совсем недавней еще поры. А захотел бы — и длилось бы: на пенсию не выпроводили — сам ушел. Пора! С поднятой головой надобно уходить, а не ногами вперед. Рассказывали ему или где-то прочел он, что львы и слоны, когда к старости, сами отделяются от сородичей и уходят в джунгли. Уединяются. Не затем ли, чтобы писать мемуары?

Усмехнулся Сергей Федорович, повеселей ему стало от этой насмешливой мысли. Да и вспомнилось про доброе, про гордое. Работать он умел. Всеми признано, — умел. Вот про это и следовало вспомнить, это и следовало предать протоколу, то бишь запечатлеть в мемуарах.

С чего начать? Жизнь учила его работать. Тесть только направил, подтолкнул только. Трех-четыре лет не прошло, как и бойкий, пробивной его тесть остался за флагом. И все лишь головой крутил, — мол, ну и зятек, ну и прет. А он и не пер вовсе. Он — работал. А как, ну-ка, вспомни, а как? Про что записать, какие слова про это найти? Давние времена. И за давностью все как в дымке. Помнишь уже и не дело само, а себя молодого, энергичного, ухватистого, поворотливого. «Есть!» да «есть!» все покрикивал. И шло дело. Подчиненные его слушались, выше-стоящие — к нему прислушивались. Шло дело.

Сергей Федорович склонился над листом бумаги, снова ужал в пальцах выскользнувший было карандаш. И локоть даже толкнулся вперед — пиши! Но фраза не шла, слово на бумагу не ложилось. Вспомнилось, незнамо зачем, вовсе некстати, как вызвали его в один хмуроватый денек — дождь с утра зарядил, рябью покрыл булыжники мостовой, — как вызвали его на коллегию. Вспомнился, незнамо зачем, вовсе некстати, друг его закадычный той поры, друг и сослуживец, и еще по службе в армии сотоварищ. Он тоже шибко шел вперед, его друг Григорий Ершов. И даже опережать его начал. Как-то все легко ему давалось, развеселому этому парню. Ах, как же он улыбался хорошо, светлея лицом! И как хорош был собой, статен. Женщины без ума от него были.

Но он, что ли, робел их, женщин,— вот уж кто не был ловеласом, так это он. И все не женился. Самые завидные партии ему были доступны, а он все в сторону да в сторону. Кого-то, похоже, он любил, тая от всех свою любовь. И работал, работал, яростно, увлеченно. Работал и учился. По четыре часа в сутки спал. До обмороков дорабатывался и доучивался. «Партии, говорил, надобны грамотные работники. Кто, если не мы...»

Дружили они, крепко дружили, как это возможно лишь смолodu, а потом разошлись. А потом... Стоп! Мимо, мимо тех дней! Не о том вспомнилось! Но ведь вспомнилось. Куда теперь деваться от ожившей памяти? Это глаза можно зажмурить, а память не зажмуришь. Разве что о чем-то другом сразу постараться вспомнить. И тогда одно в памяти повытеснит другое. А то и не сгладит, не повытеснит. Нет, не шел из памяти друг его яснолицый. И день тот хмурый,— дождь с утра зарядил, рябью покрылись булыжники мостовой,— и день тот хмурый явственно встал перед глазами. Надо же, и за окном вот дождь зарядил. И сразу потемнели, даже почернели стволы берез. Старые уже, мало в них белизны. Да, день тот хмурый встал перед глазами... Но что он мог сделать, как мог он выручить друга, когда тот сам себя и подвел и сгубил? Кому-то доверился, кому не след, в чем-то запутался. Сергея Федоровича тогда спросили на коллегии, что он обо всем этом думает. В жар бросило Сергея Федоровича, как вспомнил он тот миг, когда нарком обратился к нему с вопросом. А ну-ка, мол, дорогой товарищ, что вы скажете в защиту своего друга?

Вскочил Сергей Федорович, как от удушья распахнув рот. Что, что он мог тогда сказать, ну, что? И как тогда, много лет назад, десятилетия назад, развел он руки и голову вобрал в плечи. «Эк вы какой!» — сказал нарком и отвернулся от него. И все, кажется, отвернулись, все члены коллегии, а друг его вскинулся было и поник.

Умер тот нарком, нет и тех членов коллегии, и друга его давно нет в живых. Сгинул, забылся, вычеркнут из памяти людей тот миг. И нечего, нечего его вспоминать. Мимо, мимо!

Разжались пальцы, выронил Сергей Федорович карандаш, и тот упал на пол. Пришлось нагнуться, на колени даже встать, чтобы добыть из-под стола карандаш. Как назло, карандаш в самый угол забился, под карниз. Стоя на коленях, продвигаясь так по полу, Сергей Федорович все старался не карандаш добыть, а память одолеть. Он елозил на коленях и подстегивал свою память, чтобы переворошилась. А всего и добился, что вспомнил, как рыдала жена, когда узнала о беде, постигшей их друга. Как упала перед ним на колени, руки заламывая, как молила: «Сереженька, Сереженька, выручи его!» А он ответил, все слова вспомнились, до единого: «Маша, дружба дружбой, а табачок врозь». Странно она на него тогда глянула, дикими какими-то глазами и поднялась, рукой прихватив рот, чтобы слова больше не молвить. Стоп, стоп! Да не Машу ли он любил, его друг? Он — ее, она — его? Быть не может! А ведь это так, так. Открылось! Вон когда открылось! Вон когда...

Насилу достал карандаш Сергей Федорович. Карандаш забился под карниз, зарылся в пыль. Блестит все вокруг, прибрано, а вон она пыль-то, вон ее сколько. Видимость одна, а не порядок. Открылось!.. Вон когда...

Сергей Федорович снова сел к столу, забыв и брюки отряхнуть. Уперся локтями в столешницу, зло уперся, как это делал всегда, когда не давался какой-нибудь хитроумный документ. Надобно написать, время не ждет, а слов нужных нет. И такая вдруг ярость возьмет, что карандаш об стену. И один и другой. И кулаком на звонок. «Стенографистку сюда!» Прибежит с блокнотиком пигалица какая-нибудь, замрет, внемлюще вскинув на него глаза. И вдруг на тебе, нужная фраза с губ и сорвется.

Сейчас карандашами как ни швыряйся, а не поможет это. И звонка под рукой нет, и стенографистка не прибежит и не замрет. Один ты сейчас. Один со своими мыслями, с памятью этой, которая вдруг взбрыкивать начала, стала оказывать неподчинение. Но ничего, ничего, выйдет по-нашему. Мимо, мимо тех деньков! А Машу, а Марию свет Александровну, как явится, пренебреженно надо будет спросить, что у нее тогда было с Гришей. А может, не спрашивать? К чему? Она уж и забыла, а?

Зачем, собственно, задумал он писать мемуары, ну, зачем? А затем, что жизнь, хоть ее и сравнивают с дорогой, у каждого наособицу. И обидно, тоска берет, когда подумаешь, что весь ты без остатка волеешься в эту общую дорогу. Не камушек какой-нибудь, не кусок асфальта, человек ведь. И многого достигший человек, выделенный из ряда способностями и усердием.

Вот они, приметы того, что он выделен был из ряда, вот они, его знаки отличия, разместившиеся в многочисленных этих коробочках, аккуратно уложенных в ящике письменного стола. Этот за пятилетку. Этот по случаю юбилея собственного. Снова по случаю юбилея. Но не было ордена за войну. Медали есть, а ордена нет. Не воевал, не сняли с брони, надобен был в тылу.

Война... Опять заработала память, опять что-то там в себе переворотила, передвинула, добывая из недр своих давнее да забытое. Война... Ни дня, ни денечка не был Сергей Федорович на войне. За давностью событий этих и он порой принимался вспоминать про ратные свои подвиги. Нет, он не лгал, избави бог. Был же он на строительстве оборонительных сооружений? Был. И самолеты со свастикой летали над ним, — ведь было? Было. И раз на эшелон, в котором ехал, налетели стервятники, и бомбы рвались чуть что не рядом, когда он, выскочив из вагона, упал в какую-то яму. Бомбы рвались, и пулеметы, все пулеметы, будто в его только спину и стреляли. Было, ведь было это? Было, было. А все же на войне он не был ни денечка. Забыл, так вспомни, ни денечка. Ох и память, ну и память, — чего ей надобно?!

Да, если честно в том признаться, если не про то писать, про что привык рассказывать и во что даже уверовал с течением времени, а про

то писать, про что подсказывает ему память, то войну-то он стороной обошел. Память нынче враждует с ним, но не лжет. И все ворошится сама в себе, добывая да открывая ему давно позабытое, такое все, от чего больно вдруг делается, стыдно вдруг, не по себе. Или так уж положено, когда садишься писать мемуары? Адова, выходит, работа?

Война... Мимо! Мимо! Ничего героического он в те годы не совершил. Вернее, ничего такого, о чем бы должно было написать, дабы увековечить. Ну, работал в своем министерстве, работал много, усердно. Так и все так работали. Снабжался хорошо, «Литер А» имел, квартиру в эвакуации получил. Нет, не в строку все это. Война шла, а он, бывало, по воскресным дням на рыбалку закатывал, за преферансик усаживался, и пилося и гулялось, бывало. Здоровый... Сильный... И ведь не так уж был незаменим, мог ведь уйти на фронт, отпроситься, настоять. Не отпрашивался, не настаивал. Куда там! Если уж что и добудет ему сейчас память, если уж что и добыла из той поры, так это совсем про иное, совсем про обратное. Бронь... Он ее сам на себя натягивал, ту бронь, на многие ради того пускаясь ухищрения. Так что же, трусом он был? Трусом он себя не считал, а вот помирить не хотелось. Сам о себе он порешил тогда, что более надобен родине живым, нежели мертвым. Вот так вот, сам о себе порешил, сам собой и распорядился. Сумел. Мимо! Мимо тех дней! Не напишутся...

Дождик отгородил от Сергея Федоровича его березы, почерневшие и погрузневшие. У берез в осеннюю пору, да еще если дождь, печален лик. Будто кто их бросил, покинул на произвол судьбы. И глядеть в эту пору на березы невесело, самого будто бросили, покинули на произвол судьбы. А тут еще память враждует с тобой, все в тебе руша, что выстроил. Воистину, годы строить, день ломать. Слушай-ка, а может, ты и работал не так уж хорошо, а? Нет, не смолodu, а потом, в последний, скажем, десяток лет? Ну, справлялся, а так ли уж был незаменим и ценим, как самому казалось? Годы шли, молодые подпирали, а ты так со своим незаконченным высшим и жил-поживал. Может, подучиться следовало, а нет, так потесниться? Куда там! Самонадеян был. Уверовал в себя, в свою непогрешимость. «На мой век хватит!» — говаривал. И не то чтобы потесниться, а сам кое-кого умел потеснить, назвав для себя работу ту по потеснению всяких там претендентов «стратегией и тактикой в служебных баталиях». Во как: стратегия и тактика. Будто был он главнокомандующим, занимал позиции, а вокруг вражеские войска. Да, красиво звучит: «стратегия и тактика в служебных баталиях». Но можно и в одно слово все эти громкие слова вместить. Находились люди, вмещали, забывшись от гнева, терпя поражение. Ну-ка, память, не церемонься, чего уж. Столько нынче понанесла, — неси и это слово, выкладывай. Ага, вот оно, вынырнуло!.. Один молокосос дипломированный и даже остепененный, — нынче они ранние, эти кандидаты наук, — совсем недавно кинул ему в лицо это слово. «Интриган!» — вот оно, это слово. Он о тактике и стратегии помышлял, а его интриганом обозвали. Про-

глотил. Промолчал. Как проглатывал и отмалчивался и прежде. В том отчасти и состояла его тактика, чтобы на взрыв не взрываться и на брань не откликаться. Да, а кстати, а где этот бойкий кандидат наук? И след простыл. То-то и оно. Ах, глупый ты человек, да разве служба не требует и обходов и своей тонкой тактики? Какое же тут интриганство? Не прав ты, погорячился по молодости. Ничего, поймешь с течением времени, если уже не понял. Интриган... Хлесткое слово. Обидное. Зарыть бы его назад, упрятать бы навсегда, на самом доньшке. Ну и память, ну и усердствует нынче. Вражеский просто лазутчик. Нанесла, напутала, расшвыряла. О чем писать-то? О чем?..

А за окном дождь все сильней. И сырые там мокнут березы. Что это, не тетя ли Клава опять прижалась к одному из стволов? Пригорюнилась там, промокла, а в дом не идет. Страшитесь в дом ступить.

Глянул, схватив очки для дали, за окно Сергей Федорович. Почудилось?! Конечно, почудилось! Весь день нынче какой-то почудливый. Нет, адова, адова работа, ну ее!

1975

ПОДСНЕЖНИК

1

Владельцы маленьких и старых автомобилей — всегда народ презанятнейший. Не замечали? Хитрое ли дело купить с больших достатков новый «Москвич» или новые «Жигули». Купить, сесть за баранку, надуть щеки, — а они сами надуваются, даже вопреки воле хозяина, — и покачать, в миг один перейдя из племени пешеходов в заносчивое племя собственников. Не вообще — собственников, а собственника вот именно автомобиля, что и в нашей стране звучит красиво. Не хитрое это дело, особенно если достаток твой законен.

Но если ты чуть ли не своими руками собрал машину, если купил ее почти мертвую и влил, вдул, впаял в нее жизнь, — вот тут ты уже не собственник даже, а как бы соупряжник, как бы солошадник в тех немногих лошадиных силках, коими жив сей драндулет. И, конечно же, не каждому дано свершить такой животворный подвиг. Тут смекалка надобна. Тут мастерство всяческое необходимо. Тут, того не ведая, Кулибиным надо стать наших новых и новейших дней. Не говоря уж о терпении, просто философическом терпении, которое тут необходимо и которое разве что можно сравнить с терпением рыболова, удыщего во внутренних городских водоемах, то бишь в прудах. И ведь приносят на жареху. По карасику в час, но налавливают. Это сколько ж надо выстоять? Посчитайте. А собрать машину, которая пала, а поднять ее на колеса и чтобы эти колеса задвигались, — это, если сравнивать, не десяток карасей надо выудить, а целый, скажем, центнер.

И поднимают все ж таки. И оживляют. И потом, что ни день, ремонт задают, похоже, что корочку на ладони подносят и из торбы кормят.

И эти вот солошадники, умельцы эти и терпеливцы, — вот они непременно занятнейшие люди, с печатью гения на челе.

С одним таким милым гением совсем недавно свела судьба Всеволода Андреевича Кудрявцева. Гений был не только владельцем самой первой модели «Запорожца», — знаете, такого самоварчика на колесах? — но он еще был подснежником. Не ведаете, что сие означает? Подснежником зовут человека, который работает где-либо не по специальности. Вернее, он-то, может, и по специальности работает, но в ведомости на зарплату числится совсем в ином качестве. Он, скажем, тренер футбольной команды на заводе, а в ведомости он — мастер цеха или инженер-конструктор. Тренеров по штатному расписанию у завода нет, а мастера и конструкторы имеются. Вот и комбинируют люди. Тренер-то нужен. Но пример с тренером приведен как наиболее доходчивый. А вообще-то подснежников хватает и в иных сферах деятельности. Наш подснежник, к примеру, будучи юристом, зарплату в своей фирме получал как электромонтер, но работал вовсе не юристом, а воспитателем в рабочем общежитии. Вот какой он был — воистину подснежник. А что поделаешь? В той фирме, где он работал, не было в штатном расписании нужного числа воспитателей для общежитий, вот так и выкручивались, совершая явное нарушение, уповая на то самое французское «са ира!» — все наладится! — что на русский можно перевести еще и как: «авось обойдется».

Ну, а он-то что же, а он почему, будучи юристом, пошел воспитателем в рабочее общежитие, а он-то зачем дал упрятать себя в тот весенний пористый снежок, в котором и прорастают труднодоступные для глаз подснежники?

Но прежде несколько слов о Всеволоде Андреевиче Кудрявцеве, которого свела судьба с подснежником. Забавные порой вершит знакомства эта своевольница судьба. Вот уж кто был самим собой, был не подснежником, так это Всеволод Андреевич Кудрявцев. Он еще в школе наметил себе путь в жизни и им и следовал, к неполным сорока годам заметного достигнув места в жизни. Воистину заметного, даже заметнейшего, ибо был он международником, обозревателем, последнее время выступавшим не только в журналах и газетах, но и по телевидению. Уж куда заметнее быть, коль выступаешь по телевидению. Всякий раз после выступления Всеволод Андреевич примечал, как странно, узнавая, вглядываются в него прохожие, оборачиваются и примедляют шаг. Знакомое лицо? Знаменитость какая-нибудь? Чего скрывать, эти взгляды чуть-чуть да тешили душу Всеволоду Андреевичу, хотя и был он серьезным человеком, серьезным делом был занят, вовсе был не суетен.

Они познакомились при чрезвычайных обстоятельствах. При тех самых, генезис которых столь тщательно, но безуспешно, выясняется на

страницах «Литературной газеты» и «Вечерней Москвы». Словом, Всеволоду Андреевичу позарез нужно было такси, а машины с зелеными огоньками одна за другой проносились, а если и притормаживали, так только затем, чтобы очередной таксист мог осведомиться, а не по пути ли Всеволоду Андреевичу с ним, с таксистом. Увы, Всеволоду Андреевичу было не по пути, и очередное такси уносилось в поисках попутчиков для своего водителя.

А этот остановился. Самоварчик на колесах взял да остановился.

— Вам куда? — распахнув дверцу, спросил владелец самоварчика и благожелательно улыбнулся павшему духом Всеволоду Андреевичу.

Эта благожелательная улыбка потом все время промелькивала на лице Сергея (его Сергеем звали). Он вот так вот улыбался и коротко кивал, будто соглашаясь с тобой, даже когда и не соглашался, не мог согласиться. Это шло в нем от вежливости, от душевной тонкости. Он был вежлив и тонок. Но сперва-то, конечно, Всеволод Андреевич всего этого не углядел в нем, а только увидел, что человек готов ему пособить и что у человека этого симпатичное лицо — моложавое, сухощавое, с голубыми, умными, внимательными глазами. И вот с улыбкой.

Всеволод Андреевич было начал объяснять, куда ему да что у него за дело, но Сергей улыбочиво прервал его.

— Садитесь, — сказал он. — По ходу пьесы разберемся. — И тогда и представился: — Сергей. А по батюшке — Андреевич.

— И я тоже — Андреевич, — почему-то обрадовался Всеволод Андреевич, — Всеволод.

Он втиснулся в самоварчик, и они покатили.

Кто не ездил на «Запорожцах», — съездите хоть разок. Во-первых, ты сразу оказываешься чуть ли не у самой земли. Во-вторых, тебя сразу обступают со всех сторон великаны. Я уж не говорю о грузовиках, которые начинают казаться самодвижущимися домами, но даже обыкновенные «Волги» превращаются в настоящие громадины. И ты, почти касаясь земли, катишься среди этих великанов, крошечный, но бойкий какой-то, помолодевший какой-то, без возраста. Совсем как собачонка среди громадных псов. Разок-другой испытать такое полезно, от зазнайства излечивает, как бы познаешь истинные свои размеры.

2

Они покатили, и Всеволод Андреевич сразу же изумился умелости своего водителя. И его улыбка ему все больше нравилась. И его готовность куда-то ехать не торгуясь, — это тоже было дорогой человеческой приметой.

— Сперва в Военторг, — сказал Всеволод Андреевич. — Там по-быстрому купим телевизор, мне нужно для дачи, мой старый сгорел, а без телевизора ну никак, — сами понимаете, такие все время события; ну а потом, если не возражаете, отвезем этот телевизор, я уж присмотрел

какой, ко мне на дачу, до нее недалеко и дорога хорошая, все время асфальт.

До Военторга было рукой подать. Всеволод Андреевич оттуда и шел в поисках такси, когда уже приглядел в магазине нужный телевизор. Да вот только на чем везти?

Теперь все улаживалось, самоварчик и его хозяин брались помочь Всеволоду Андреевичу, и помощники они оказались славные, в них подкупала готовность и даже решимость быть полезными. И в них подкупала сердечность. Да, да, и в старенькой машине она тоже проглядывала — эта сердечность. В том, как побежала на своих колесиках к Военторгу, в том, как поднатужился ее движок, потащив теперь уже не одного седока, а двух. Все это делалось охотно, старательно, даже самозабвенно — и потому с сердечностью. Ведь именно от сердца исходят все порывы людские, и вот, оказывается, и машине они могут передаться.

Всеволод Андреевич, грешным делом, подумал было, а не потому ли так старается этот милый Сергей, что узнал его, вспомнил по какой-нибудь телевизионной передаче. Подумал, но отверг эту мысль. И выбранил себя за нее. Она была мельче этого Сергея, его отзывчивости, его готовности. Он вел себя как друг давний. И даже чуть лучше, чем давний друг. Давние друзья любят советовать, поучать. Давние друзья и подшутить над тобой могут, нечто смешное углядев в твоих действиях, а Сергей без малейшей иронии вник в дело покупки и доставки телевизора на дачу. Золотой парень. Интересно бы, не спрашивая, догадаться, кто он. Он сказал: «По ходу пьесы». Актер? Он был похож на одного знаменитого актера, каким тот был смолоду, когда и устанавливалась его слава. В том актере смолоду жила доброта, эта вот готовность кинуться человеку на помощь. Потом, когда актер догадался, в чем его сила, когда он стал силой сверх меры поигрывать, она ушла от него, покинула. Он все еще был знаменит, но был подобен угасшей звезде, свет которой идет к нам из ее прошлого. Кстати, страшное это дело — актерская слава. Вообще — слава. Любая, в любом деле. Только начал к ней привыкать, только угрелся в ней, а ее и след простыл. И вдруг такая нагрянет холодина. Всеволод Андреевич даже ощутил этот холод, мурашки кольнули плечи, хотя в магазине было до духоты жарко и как раз тащили они вдвоем с Сергеем уже упакованный в картонный ящик телевизор, довольно-таки тяжелую махину. Упарился, а плечи вот холодком опахнуло. Чего гадать, он взял да и спросил:

— А вы кто, Сергей?

Они дотащили телевизор до машины, не без труда и всяческих уловок втиснули в нее ящик, втиснулись сами и покатали. И вот, когда покатали, Сергей и сказал Всеволоду Андреевичу о себе, что он — подснежник, растолковав затем, что сие означает.

— Что же, нравится вам быть воспитателем в молодежном общении? Кстати, что это за работа — воспитатель в общении?

— Работа...

Он улыбкой смягчил неопределенность своего ответа. Верно, всякая работа — работа, и во всякой работе есть свое «нравится» и «не нравится».

— Нам надо выбраться к Минскому шоссе, — сказал Всеволод Андреевич. — По Можайке мимо Бородинской панорамы и ныне вставшей там Триумфальной арки. А потом свернем на Рублевское, а от мигалки на Успенское. И вся дорога.

— Понял, — кивнул Сергей. — В замечательных местах у вас дача. Бывал там. Сосны у вас под самое небо. Москва-река славно течет. Жаль, купаться только не разрешают.

— Исхитряемся иногда. Милицейский катер проскочит, а мы в воду. Правда, занятие для более молодых. Но у нас неподалеку пруд открылся. Вот там ныряй, сколько душе угодно.

— Пруд душе не угоден. Он, наверное, непроточный?

— Воду часто спускают.

— Не то. Живого хода нет.

— Любите воду?

— Как не любить? И воду, и солнце, и чтобы ветерок. Море люблю. Через пару недель у меня отпуск. Рвану туда, к Черному. С сыном. Прокалимся до самых костей. Я потому и левачу вот. Коплю на отпуск.

Приподняв голову, зажмурившись, смотрел он перед собой и, кажется, видел море. Улыбка у него такая была, будто он чему-то далекому улыбался, желанному.

— А почему в отпуск без жены? Ведь вы женаты?

Всеволод Андреевич задал вопрос и тотчас осудил себя за него. Ну, помог человек тебе купить и подвезти телевизор, а к чему расспросы? Женат ли, нет ли, нравится ли работа, не нравится — в душу-то зачем лезть? Любим мы это — задавать вопросы случайно повстречавшемуся человеку. И такие, что впору другу задать, да и то с осторожением. Исповедуйся, случайный человек, а хочешь, так и исповедуй. Сидит это в нас.

— Умерла у меня жена, — сказал Сергей, все посматривая с прищуром вдаль.

Вот, вот, началось! Теперь и ему пристало спросить: кто ты, нравится ли тебе твое дело на Земле, женат ли, счастлив ли? Валяй, Сергей, милый подснежник, спрашивай. А что, и отвечу. Со случайным встречным можно поговорить без опаски, как говаривал когда-то с самым близким другом. Но нет такого у тебя друга, который бы не разнес по друзьям же все то, про что говорил с ним, что мучает. Друзья судачат друг про дружку, им это свойственно. А друзья ли? А не просто ли приятели, знакомые, нареченные друзьями, за неимением таковых? Был у тебя друг, был. Нынче нет его. Жив. Благополучен. Приветлив. Но нет его. У тебя — его, у него — тебя. Что так? Годы такие? Износилось что-то в наших душах?

Но надо было отвечать Сергею, отплатить той же искренней монетой. Ведь он сказал: «Умерла у меня жена. Умерла!» Есть слова, о которые спотыкаешься, как о камень, выкатившийся на дорогу. Умерла — это такой вот камень. Болью пронизывает от этого слова. Как? Почему? Была ведь молода? Болезнь? Несчастный случай?

— Беда, беда, — сказал Всеволод Андреевич и так же с прищуром, как Сергей, посмотрел вдаль. — А сын? Трудно с ним управляться?

Спросил и понял, что преступил черту. Куда-то нам можно со своими вопросами, а куда-то уже и нельзя. Исповедуйся, изволь, но не исповедуй.

И он отвернулся от Сергея — с той поспешностью, как если бы назад отшагнул, поняв, что ступил в запретное. Будто бы и не было шага, будто бы и не было вопроса. Но след-то остался.

Сергей молчал, гнал машину, упершись глазами в сизую полосу асфальта. Казалось, в небо уходила эта сизая полоса.

Пора было сворачивать на Рублевское шоссе, в сторону Кунцева. Всеволод Андреевич собрался сказать об этом Сергею, но тот опередил его:

— Я эту дорогу знаю. Сейчас нам поворачивать.

Въехали в Кунцево, где почти ничего не осталось от деревни, от дачного поселка. Большие и красивые дома тут встали. И линия метро сюда дотянулась. Рядом с близким лесом город здесь жил, и широко, и чувствовалось, что дышал полной грудью. Здесь, наверное, хорошо было жить людям. Только подумал об этом Всеволод Андреевич, как Сергей сказал:

— Хорошо тут жить. И в городе и на приволье.

— Далековато все же.

— От каких таких мест?

— Ну, от центра.

— Так нынче в Москве до десятка центров. Пожалуй, что и до десятка городов можно насчитать. Человеку не охватить нынче всей Москвы. Я вот на колесах, а город мой, моя Москва, — это то, что я пеший охватить могу, ногами намерить.

— Пешком можно и сейчас Москву пересечь.

— Можно, конечно. Денька за три. С ночевками. Это уже страна целая.

— Громадные города не от нас начались. Взять Токио, Лондон.

— Так я же не осуждаю. — Он улыбнулся, покивал, готовый отступить и уступить. — Видно, иначе нельзя, век такой. Чем мы хуже?

С недавних пор, когда начал выступать по телевидению, Всеволод Андреевич стал проговаривать, готовясь, свои речи перед зеркалом. Не все, конечно, не всю программу, а с десяток-другой фраз, чтобы глянуть на себя как бы со стороны. Ведь «со стороны-то» теперь на него глядели миллионы. Даже бывалые комментаторы советовались с зеркалом перед выступлением. Мысль есть, фраза найдена, ну, а что творится с твоими

губами, бровями, каков ты ликом. Обнаружилось многое в себе от незнакомца. Оказывается, губы у него иной раз тщеславились, выпячиваться начинали, а то вдруг смешно складывались трубочкой, ребячливый выказывая нрав. И смешно подрагивали щеки, когда думал, что говорит решительно. И брови порой вели себя невпопад. Чему-то дивились, когда сам он не удивлялся, чему-то печалились, когда во фразе проговариваемой и тени не было печали. Получалось, что человек не властен над своим лицом. Требовалась работа, актерская эта работа, чтобы лицо твое совпадало со словом, с изреченной мыслью, чтобы верило вместе с тобой в то, что ты говоришь. И не вышучивало тебя этими губами трубочкой или безволием вдруг щек. Зеркало давало первые уроки, но стал он приглядливее не только к себе, но и к другим. Осваивалась новая профессия, рождалась новая наблюдательность.

Сергей говорил, а Всеволода Андреевича занимали не только его слова, но и лицо. Оно совпадало со словами. Тут разнобоя не было, слова не умялись гримасками, подмигиваниями, им сопутствовала улыбка, но улыбка — душа лица, и душа эта была отворена. Славный парень. От природы наделенный талантом искренности. Вот бы кому вести телевизионные передачи. Сразу бы состоялся этот пресловутый контакт со зрителем, это вожденное соприсутствие в каждом доме, в каждой семье, — эффект присутствия! — про который столько твердят объявившиеся уже теоретики телевидения.

А человек, от природы наделенный «эффектом присутствия», диктор или там лектор милостью божьей, а человек этот был каким-то всего лишь воспитателем в общежитии, каким-то подснежником был, подрабатывающим вот на своей жалчайшей машинке, дабы подкопить денег для отпуска, чтобы где-то там у Черного моря прокалиться до самых костей.

— Вы никогда, Сергей, не были актером? — спросил Всеволод Андреевич. — Ну, хотя бы в самодеятельности?

— Что вы! — Сергей даже руки вскинул над баранкой, будто за голову хотел схватиться. — На людях выступать для меня мука.

— А пошли в юристы.

— Иное дело. — Он вдруг помрачнел. — Так ведь ушел.

— Или вот стали воспитателем в молодежном общежитии.

— Я там речей не держу. Там с речами делать нечего.

— Но толковать-то, внушать-то приходится.

— Разговариваю, конечно. Все больше с глазу на глаз. Что можно сказать с глазу на глаз, того не скажешь при людях. Вдруг сразу обидным это для человека выходит. Согласны со мной?

Да, он был согласен с Сергеем. С тем бесспорным, про что он говорил, и с его лицом, которое было правдивым до последней черточки, не поигрывало в простоту или там в самоуничижение, не угождало, не поддакивало, а жило правдой слов, правдой этого человека до самого его донышка. Откуда такой?

Есть люди, рядом с которыми, рассматривая их, рассматриваешь себя. Это, конечно же, знаменитые люди, взысканные удачей, талантливые, яркие, победоносные. Но Сергей-то этот был не таким. Где там! А вот Всеволод Андреевич, рассматривая его, невольно всматривался в себя. И вопросы, вопросы начались к самому себе, в вопрошающую эту — или взыскивающую? — вступал он полосу.

— От мигалки влево, — сказал он.

— Перемены тут у вас, — сказал Сергей. — Вон какой из стекла пост отгрохали. Художника бы туда. Такой обзор!

— Обзор что надо. Сколько вам лет, Сергей?

— Тридцать пять. Много?

— Мне почти сорок. Много?

— Я так и подумал, что сорок. А меня все в мальчишках держат. Ну, от силы двадцать восемь дают.

— Радоваться надо.

— Так если бы за внешность, а то за сущность.

— Как?

— Не тяну выше двадцати восьми. Ничего не успел выше.

— А я успел, по-вашему?

— Вам — сорок.

— Такова моя сущность?

— Да. — Сергей улыбнулся, добро и согласливо, и как бы шагнул с помощью этой улыбки из зоны серьезного в зону улыбчивую, где не спорят, не присматриваются, не печаливаются.

— Это — хорошо? — попытался удержать его в серьезном Всеволод Андреевич.

Сергей улыбнулся ему той же улыбкой и не ответил.

3

Шоссе ввело их в деревню, когда-то кем-то нареченную не без вызова. Раздоры — вот так звалась эта деревня. Что за Раздоры? Какие могли быть тут раздоры? В какие времена?

Никто, с кем бы в первый раз ни приезжал к себе на дачу Всеволод Андреевич, не упускал из вида этого названия, красовавшегося при въезде на транспаранте. И обязательно начинались расспросы: «Почему Раздоры? Когда начались?» И шутки непременно шутились: «А нынче как тут у вас — все раздорничаєте? Как вы уживаетесь-притираетесь в своих Раздорах?» Дело в том, что и дачный поселок и железнодорожная станция тоже были названы Раздорами.

Разумеется, и Сергей, едва миновали транспарант, обратился к Всеволоду Андреевичу с вопросом:

— Давно хотел узнать — почему Раздоры?

— Толком не знаю. Говорят, что некогда крестьяне судились из-за каких-то тут земель с местным помещиком. Ну вот и Раздоры. Долго, видимо, шла тяжба, оставила след в душах. Такова легенда. А так ли было на самом деле, нет ли — не ведаю.

— Что ж, легенда подходящая.

— Я — историк, мне надобны факты. Давно собирался порыться в архивах, старые краеведческие книжки полистать, да все нет времени. Впрочем, так ли уж это важно, каким именем и почему наречены эти два холмика, да поле, да смешанный лесок, да десяток-другой изб на земле Российской?

Говоря все это, Всеволод Андреевич поймал себя на мысли, что ему хочется понравиться Сергею, произвести впечатление. А зачем, собственно? Сейчас они повернут от магазина влево, потом, спустя двести метров, снова влево и — стоп, приехали. А там, свершив еще небольшое усилие по транспортировке телевизора от калитки до дачной веранды, свершив затем нехитрый обряд передачи из рук в руки, ну, скажем, десятки, предстоит им расстаться на веки вечные. И какая важность, что будет думать о нем этот, спору нет, милый человек, погоняя свой самоварчик назад к Москве? Да и станет ли думать? Заработал — и дальше, дальше, дабы нового подхватить клиента, дабы копились денежки, чтобы можно было рвануть в отпуск к вожделенному Черному морю и прокалиться там до самых костей.

— Вон там впереди магазинчик по правую руку, — сказал Всеволод Андреевич. — Прямо перед ним легла дорожка влево. Нам — туда.

Свернул самоварчик. Покатил, въезжая во внутренние порядки дачного поселка, в котором и детство и юность прошли Всеволода Андреевича, где знал он всех и все его знали, хотя в последние годы жила он тут не часто, далеконько порой заносило его в последние годы.

— Хорошо тут у вас, — сказал Сергей. — Тихо.

— Да, тут тихо. И все больше старики живут. Старики даже и зимуют.

— Если печка есть, отчего и не перезимовать. Москва — рядом, а ее вроде нет. Снег. Сосны столетние. Лес. Речка. Хорошо!

— Вы откуда родом?

— Москвич. В Лялином переулке возрос. Знаете, у Земляного вала?

— Там вроде тоже тихо.

— Относительно. Садовая гудит, улица Чернышевского гудит.

— Мы, можно сказать, соседи. Я в Потаповском живу.

— Да, совсем рядом! — обрадовался Сергей. — Где вы там?

— А вот в одном из военных домов, — сказал Всеволод Андреевич. — Знаете, по правую руку? Когда-то в них одни военные жили, отсюда и это название.

— Вот и еще одно имя-легенда.

— Это не легенда, это у нас на памяти.

— А пройдет сколько-то лет, и все позабудут, почему дома ваши зовутся военными. Там и военных-то, может, к тому времени не останется.

— И сейчас почти никого. Дети, внуки живут тех военных. Я вот — внук.

— А кем был ваш дед?

— Комкор Василий Кудрявцев.

— Нет его?

— Нет его.

— А отец?

— Комдив Андрей Кудрявцев.

— И его нет?

— Погиб в сорок четвертом.

— Простите, что все спрашиваю. Вы вот сказали, что вы историк. А почему не военный? Как дед, как отец.

— И историку без войны не обойтись, — чуть-чуть поучая, сказал Всеволод Андреевич. — Иной историк до конца дней своих воюет, хотя давно уже мир в тех краях, где для него война. Все исследует, кто кого и как поколотил.

— А вы, что вы исследуете?

— Я ныне в международники угодил. Даже по телевидению, знаете ли, выступаю. Все больше про Латинскую Америку. Не доводилось слушать? Лик мой не припоминается?

Кстати спросилось, хвастовства тут никакого не было, а все-таки Всеволод Андреевич почувствовал себя неловко, когда Сергей пристально глянул на него. Бесхитростные у Сергея этого были глаза, но умом светились. Что еще подумает? Не сочтет ли бахвалом?

— Нет, не припоминается, — сказал Сергей. — Так ведь я телевизор-то не смотрю. Дома у меня его нет, а на работе, в красном уголке, он у нас светится только когда хоккей, футбол, фильм какой-нибудь позанятнее. Лекции ребята не слушают.

— Международная панорама — это не лекция. — Всеволод Андреевич слегка обиделся. — И раз уж вы воспитатель... Надо приучать.

— Устают ребята после работы. Иной и на футболе носом клюет. А приучать, полагаю, вообще ни к чему не надо.

— Как так?

— Приучать — это навязывать свой вкус, свой выбор. По какому праву?

— Так что же вы там делаете? Воспитание — отчасти и насилие.

— Не пойму, что делаю. Все делаю. Вот как раз с насилием борюсь. Знаете, в каждом общежитии всегда отыщется любитель покомандовать. Ну что ж, командуй, но только над собой. Смотрю, чтобы не было обид. За чистотой приглядываю. Завхозничаю, по сути. Работы хватает.

И еще как-то открылся перед Всеволодом Андреевичем этот владелец самоварчика на колесах. О, у него были убеждения! Он что-то там утверждал вот на своей работе, какую-то внедрял педагогику. Интерес-

но было бы глянуть на него, каков он в деле, в подснежниковой этой работе. А зачем, собственно? Любой встречный что-то да делает в жизни. Таксист, продавщица, дикторша, которая тебя выпускает в эфир, почтальонша, приносящая газеты, — все они, встретившись с тобой, тотчас и расстаются. У них своя жизнь, у тебя — своя. И нет и мысли, чтобы погнаться за ними, остановить, пойти рядом. Как вы, мол? Что у вас там? Поделитесь со мной сокровенным. А хотите, и я с вами поделюсь. Такая мысль и не ворохнется. Мимо, мимо идут люди. Они — мимо тебя, ты — мимо них. А тут не захотелось терять человека. Понимал, что нелепое пришло желание, но оно пришло. Вдруг почудилось, что этот бы мог стать его другом. Вдруг — другом? Встали рядом два слова, почти близнецы по звуку, почти исключающие себя по смыслу. Вдруг не возникают друзья, когда тебе сорок. Внезапное приятельство еще возможно, даже внезапная любовь возможна, а друг, чтобы вдруг, — это уже несбыточно. Смотри-ка, даже любви превыше дар этот, имя которого — друг.

— Снова влево, — сказал Всеволод Андреевич. — И двести метров. И все.

Тянулись заборы, как бы вросшие в буйный орешник, даже калиток тут было не разглядеть. И за орешником, за соснами и березами лишь чуть проглядывали дома. В этом поселке чванились не домами, а деревьями. Здесь еще много было скромных, скромнейших домиков, таких совсем, какими их тут поставили в самом начале тридцатых годов их первые строители. Тогда это были молодые еще люди, хотя и из племени старых большевиков.

— Здорово, здорово тут у вас, — сказал Сергей. — Славно.

Он остановил машину, угадав, у какой калитки встать.

— Верно, здесь мой дом, — сказал Всеволод Андреевич. — Как догадались?

— А по антенне телевизионной, — улыбнулся Сергей. — Дома вашего почти не видно, а антенна самая тут высокая.

— Стало быть, если я по телевидению выступаю, так и антенна должна быть у меня самая высокая?

— Стало быть.

— А ведь антенна эта — уже тогда стояла, когда я и не думал, что стану обозревателем.

— В мыслях не было, а к тому шло.

— Как это?

— Объяснить не смогу, но замечал, что и до мыслей мы куда-то идем, идем, куда нас тянет. Дошли почти, а уж только тогда все мыслями обернем, вроде как упакуем. И выходит, мы не сослепу шли. Обдумавши. Загодя. И нас не ум вел, а что-то там еще такое.

— Бог?

— С усмешкой спрашиваете?

— Нет.

— Верующим вам кажусь?

- Сейчас это модно.
- Если мода, так это не вера.

В струну вытягивался разговор, и та струна вот-вот могла порваться. Звон этот неслышимый, когда перетягивается струна в разговоре, Всеволод Андреевич умел улавливать. Этому он в своих странствиях обучился, в чужелюдьях.

— Прошу вас, помогите мне дотащить ящик до веранды,— сказал Всеволод Андреевич.

Следом за Сергеем он выбрался из машины, от которой жар шел, как от истинного самоварчика. Или нет, этот старенький «Запорожец» сейчас показался Всеволоду Андреевичу дряхлой лошадежкой, едва дотащившей непомерную тяжесть, упарившейся, поводящей боками. А ее хозяин, а кучер, подснежник этот, вдруг увиделся наново, как бы из старых времен, как бы в корневом облике, какого-то из прародителей своих повторив. Невысок, рус, жаль вот только, что без бороды, но и не жаль,— лицо открытое. А лицо впрямь открытое. И глаза чистейшей синевы. Сильные руки, сильнее тела и нешироких плеч. Крепкая шея в ранних морщинах. Много этих морщин и возле глаз, у губ. Родного облика человек, родное лицо, родная синева глаз. Друг?! Где там! Сейчас укатит.

Вместе извлекли ящик, который вынимался из самоварчика еще труднее, чем впихивался в него.

— Надо бы вам машину попросторней,— сказал Всеволод Андреевич, когда, запыхавшись, они все же завладели ящиком и понесли его к калитке.

- Надо бы, да не укупишь. А у вас-то что, нет машины?
- При разделе имущества отошла к бывшей жене.
- Вон что.

Распахнулась калитка, и старенькая старушка вышла им навстречу. Бодрая старушка, энергичная, прибранная, вот даже в брюки обрядилась по-молодому, и седые волосы у нее аккуратными буклями были уложены под тончайшей сеткой. Калитка под ее рукой откинулась с поспешностью, да и шагнула старушка навстречу прибывшим размашисто, деловито, как человек, дорожащий своим временем.

- Всеволод, никак телевизор?
- Он самый. Знакомьтесь, Сергей, это моя тетушка.

Старушка глянула на Сергея, глянула на его драндулет, мигом все про все поняла и руки Сергею не протянула, мигом же установив должную дистанцию между собой и им.

Пришлось Всеволоду Андреевичу как бы протягивать за тетушку руку.

- Зинаида Васильевна,— сказал он и поклонился Сергею.

Смешно вышло: они тащили ящик и тут уж было не до расшаркиваний. Но и Сергей тоже поклонился и даже вроде ногой по посыпанной песком дорожке шаркнул.

- Сергей.

А старушка уже была впереди, обогнала их, перехватила крепкой рукой кинувшегося навстречу фокса, который все же вырвался, бросился к Сергею, наигрывая ярость, но ткнулся в дружелюбно подставленную ладонь и смирился с этим пришельцем, занялся хозяином, подпрыгнул, коротко пролаял что-то ласковое и тут же припустил следом за хозяйкой.

— Тимка,— представил фокса Всеволод Андреевич.— При разделе имущества собачка выбрала меня. Вру, конечно, не меня, а тетушку. Вот так и живем ныне. Старшая сестра отца, пес Тимофей восьми лет от роду, кавалер четырех больших золотых медалей, ну и я в придачу.

— Тетушка у вас боевая.

— Именно, именно. В прошлом военврач, полковник медицинской службы. И все воюет, знаете ли, еще с гражданской войны.

— На меня взглянула и осудила. Левак!

— А вы мнительный. Ранимый.

— Все, все есть.

Трудно было нести ящик вдоль узенькой дорожки, огибающей просторные клумбы. А ступить с дорожки было никак нельзя. На клумбах росли розы. И какие! Глазам не верилось, что возможны такие живые, чистые, первозданные краски, что можно так смешать их, нет, родственно сдвинуть, что земля, эта вот, в древесных угольках и каким-то серым порошком посыпанная, земля может родить такое. Загляделся Сергей.

— Красота, вот красота-то!

— Все она, все тетушка.

— А это что за деревце? Цветет кроной, как одним цветком. Никогда не видел.

— Японцы изобрели.

— И прижилось в нашем климате?

— Попробовало бы не прижиться. У Зинаиды Васильевны не покапризничаешь.

— Уразумел уже. Вам-то как приходится?

— Ну, я любимый племянник. Да и оседлость обрел сравнительно недавно. То в Мексике жил, то в Колумбии, то в Перу.

Они внесли ящик на веранду, поставили, куда указала пальцем Зинаида Васильевна, и вот и пришла пора им расстаться.

Но вмешалась Зинаида Васильевна.

— Всеволод, пусть товарищ поможет тебе установить телевизор. Вам ведома эта работа, Сергей?

— Включить этот ящик дело нехитрое,— сказал Сергей.

— Тогда помогите. Я заметила, что самые нехитрые дела у Всеволода Андреевича выходят не плохо хорошо. Да, а куда старый ящик денем? Всеволод, не отнеси ли его вам в маленький домик? Пусть стоит пока, а осенью отвезем в мастерскую.

— Сколько тебе нужно телевизоров?

— Но не выбрасывать же.

— Есть магазины, где принимают старые телевизоры и что-то даже за них платят,— сказал Сергей.

— Слыхали. Гроши какие-то. Нет, пусть постоит. Да и бесчеловечно это отправлять под штамп своего многолетнего собеседника.— Старушка подошла к старому телевизору, стоявшему на столике в углу, плачком провела по его замутненному лику.— Ну, братец, прощай. Отпоказывался, отболтался. Молодые люди, принимайтесь за дело.

Она отошла в сторонку, уселась в плетеное креслице, такое же ладное, как и она сама, легкое и подвижное, и стала наблюдать за усилиями мужчин, морщась и хмурясь от их неуклюжести. Но от советов вслух она удерживалась. Пускай уж, разве им втолкуешь.

Старый ящик был снят, новый ящик был установлен. Путались, путались Всеволод Андреевич и Сергей, но все же нашли, куда что втыкать, и вот уже замерцала, вспыхнула какая-то таинственная полоса на экране нового телевизора, раздалась, прояснилась — и лег во всю ширь экрана столь ныне знакомый всем круг, испещренный знаками и цифрами. И зазвучала музыка. Странная и прекрасная.

— Григ,— сказала Зинаида Васильевна.

— Пер Гюнт,— кивнул Сергей,— Пляска Анитры.

— Однако! — старушка повнимательней глянула на него.— Однако! Потом она посмотрела на Всеволода, потом перевела глаза на старый ящик, как бы навсегда прикрывший свое единственное серое веко.

— Жалкий-то какой,— сказала она про ящик.

— Вот и все,— сказал Сергей.

— Да, да,— заторопился Всеволод Андреевич и смущенно полез в карман за деньгами.— Вы меня так выручили, так выручили...

— А коли выручил, так пусть и отобедает у нас,— сказала Зинаида Васильевна.— Пер Гюнт! Надо же! Вы, случайно, не из музыкантов?

— Он — подснежник,— усмехнулся Всеволод Андреевич.— Верно, Сергей, оставайтесь у нас обедать! Сообразим по маленькой. А?

— Я же за рулем.

— Да, худо.

— Обойдется без маленькой,— сказала Зинаида Васильевна и поднялась.— Пьянству — бой. Идите руки мыть, молодые люди. А что это означает — подснежник? А это что?

Это она спросила Сергея о мелодии, зазвучавшей из телевизора.

— Вальс Сибелиуса,— сказал Сергей.

— Он! Плакать хочется, когда слушаешь такую музыку. А вам?

— Просто слушать.

— Ну, ну, слушайте.— Она зачем-то пододвинула ему свое креслице, хотя на веранде были кресла и понадежнее.— Садитесь, Сергей.

Оборвалась музыка, уплыл круг с цифрами, и на экран вплыла торжественноликая красавица. Она опажнула всех ресницами, развела уста и начала рассказывать о предстоящей программе передач, и не было важнее дела на Земле, чем то, которое она делала.

— Что за манера прерывать музыку! — возмутилась Зинаида Васильевна.

— Погоди, тетя Зина, послушаем, как она меня объявит, — сказал Всеволод Андреевич.

— Ах, вот почему ты поспешил с этим телевизором! А я уж возрадовалась, что недельку передохну. И мил собеседник, да уж больно речист.

— Погоди, тетя. Вот!

— В девятнадцать сорок пять, — промолвила красавица, еще как-то построжав в предварении важного известия: — «Сегодняшние проблемы Латинской Америки». Выступление журналиста-международника Всеволода Андреевича Кудрявцева... В двадцать пятнадцать, — красавица чуть улыбулась навстречу новому известию: — «Передача для самых маленьких...»

— Сперва надо уразуметь, кто да кто из нас самый маленький, — сказала Зинаида Васильевна и выключила телевизор, последив, как дрогнуло и истаяло лицо красавицы. — Хороша! Ты знаком с ней, Сева?

— Естественно.

— Пригласил бы как-нибудь. Вдруг она еще и смеяться умеет. И вообще, мила и проста. Это телевидение вас всех притворялами делает. Ну, ну, прости. А за ящик спасибо. Громадный, дорогой. Угодил!

— Пойми тебя! — недовольно буркнул Всеволод Андреевич.

— И не старайся. Сама себя не пойму. Обедать, обедать, молодые люди! Сергей, вы окрошку уважаете? — И старушка дружелюбно кивнула Сергею, уведомляя его о своем расположении.

— Уважаю! — просиял Сергей.

4

Они ели окрошку, и этот квас с луком и еще там с чем-то их объединил. Малость бывает нужна человеку, чтобы на седьмом себя почувствовать небе. Вот окрошка эта, не московской выпечки хлеб, вдруг напомнивший детство, кусты жасмина, затенившие одну из сторон веранды своим сплошным белым цветом, и эти розы, как глаза земли, — все это, и еще высокое небо с недвижными облаками, и какой-то звук далекий, частый оклик неведомой птицы, и тишина, тишина — все это было радостью, наполнило душу радостью и тишиной.

— Чего еще человеку надо? — вырвалось у Сергея. Он смутился: поймают ли. Поняли, не ответили.

Чуть погодя старушка сказала, читая мысли своего любимого племянника.

— А вы погостите у нас, Сергей. Куда спешить-то? Чай, выходной у вас?

— Выходной.

— Вот и подышите чистым воздухом. На речку сходите. В лес. Кстати, и Тимку погоняете. Ему надо, жиреть стал.

Услышав свое имя, пес вскочил и напрягся, вникая в разговор. Заветных слов, какие ему были ведомы, он не услышал, но радость и его коснулась. Это предвкушение радости, что приходит вслед за словом «гулять!»

— На него смотри, от него все зависит,— сказал Тимке, указывая на Сергея, Всеволод Андреевич.— Один не пойду. Проси, умоляй остаться. Мол, побродим, человек. Ведь интересно ж, чем там пахнет в лесу и у реки. Не притворяйся бесчувственным. Интересно, интересно. И вдруг да кого встретим. Оставайся, человек.

Тимка коротко взлаял, уставившись на Сергея.

— Надо же, понял!—умилилась Зинаида Васильевна.— Знаете, Сергей, иногда мне этот пес кажется чертовски умным созданием. Он нацелен на главное. Еда, прогулка, то бишь свобода, мир в доме. Стоит нам только возвысить голос, как он сбегает от нас куда-нибудь под кровать. Ему больно от нашего крика и жаль нас, глупых.

— Если позволите,—сказал Сергей,—если не помешаю, я бы остался. На часок-другой...

— Просим! Умоляем! Тимка, скажи! — Всеволод Андреевич радостно вскинул руку, и пес подпрыгнул, залился счастливым лаем, поняв, что пробил миг его радости.

Быстро дообедали, подгоняемые вызвеневшимся нетерпением лаем,— никакими словами нельзя было сейчас унять Тимку,— и вот шагают они втроем по дорожке, теснимой вековыми соснами, и Тимка тянет, тянет на поводке, увлекшись чтением острых и прекрасных запахов.

— Свою нерукотворную книгу листает,—сказал Всеволод Андреевич.— И тут же ответ дает. Пошла переписка.

Следом за псом и он тоже то туда, то сюда устремлялся, кружил, и если не принюхивался, то уж посматривал во все стороны. И тревожились его глаза, не проникал в них покой сих благословенных мест.

А Сергей проникся этим покоем. Он с дорожки не сходил. Ожидая, оглядывался, и все касался суеверно ладонью каждого дерева, до которого мог дотянуться, и тогда вскидывал голову и тянулся глазами к далекой вершине, казавшейся дальше от земли, чем от неба.

Кружа и как бы разрываясь на части, ибо множество всяческих нагрянуло на него дел,— вон сколько надо было ответов писать,— пес все же вел их, тянул на поводке в свою куда-то сторону, к своей цели. Похоже, этот маршрут был ведом и Всеволоду Андреевичу. И не очень-то охотно шел он дорогой, избранной Тимкой, поводок все время был натянут. Но — шел. А следом за ними, молясь деревьям, следовал Сергей. Был он сейчас в том состоянии духа, когда душа все понимает, когда отклик в ней готов поспешить навстречу всякому, кто нуждается в участии. Этот всякий — и муравей, безрассудно вступивший на пешеходную тропу. Обойти муравья! И даже комар, севший на руку. Сдуть, не убить!

И дятел — пестрое чудо, близко перелетевший с сосны на сосну. Примедлить шаг, не спугнуть бы! Больно глядеть, когда чудо пугается, когда метаться начинает крыльями, созданными для парения, а не для метания.

Он все понимал, всех жалел. И муравья, и дятла, и этого Всеволода Андреевича, который как раз и метался, влекомый своей собакой, и тревожились, не успокаивались, ждали чего-то его глаза. Сергей понял: предстоит встреча. Такая, при которой трудно с глазу на глаз, и потому и понадобился он в спутники. Что ж, Сергей был готов пособить, если нужна станет его помощь, душа его изготавилась.

— Куда это он все тянет? — неискренне удивился Всеволод Андреевич. Знал ведь, куда тянет пес. И шел за ним, хоть и упираясь, но все-рьез не препятствуя. Не хотел бы идти туда, куда тянул Тимка, повел бы его сам, натянув поводок, переборол бы его волю.

— Знает дорожку, — сказал Сергей. — Они умнее нас в этом.

— В чем, в этом?

— Ну, в выборе пути. У них точнее ориентиры. Проще.

— Пожалуй. Что ж, доверимся ему?

— Доверимся.

— Тогда нам предстоит встреча.

— Я уж догадался.

— Не из легких, скажу я вам.

— Надо думать. О легком бы не предупреждали б.

— Мне будет трудно, да и вам достанется.

— Нас ведь трое, — улыбнулся Сергей. Жаль ему было этого Всеволода Андреевича, которого вел на поводке, тянул куда-то, все более возбуждаясь, пес Тимка. Мудро ли поступал этот пес или, может быть, опрометчиво? Он следовал своим понятиям, своим жил нюхом и тянул, спешил. Но те ли это были понятия, какие бы пригодились сейчас Всеволоду Андреевичу, помогли бы ему разжаться? Как знать? Ответ был в тумане, он был в конце их пути. На этой аллее, где вековые сосны перемежались вековыми березами, на которую они свернули? И где, в каком месте случится та встреча? Возле дерева, возле одной из калиток?

— А ведь мы через древний лес идем, опушкой древнего леса, — сказал Сергей.

— Верно, этот поселок строился в лесу. Жаль, падать стали часто сосны. Что ни гроза, то потери.

— Поврозь стоят, вот ветер их и валит.

— Да, вы воспитатель.

— Я как раз хотел добавить, что у людей все куда сложнее. Народу вокруг много, а ты — одинок. И так бывает.

— Всяко бывает. — Всеволод Андреевич построжал вдруг, словно разговор этот ему наскучил, спутник наскучил. Построжал, отгородился Всеволод Андреевич, своевольно сам натянул поводок и остановился. И дальше — ни шагу. Назад стал поворачивать.

Пес понял, что ему не совладать с хозяином, а до цели оставалось всего ничего. И тогда пес подал голос. Если нельзя добежать, то можно позвать. И он принялся звать, повиснув на поводке, задыхаясь. Это был не лай и не вой. Это был зов.

Где-то близко скрипнула и откинулась дверь, бегущий шорох слышался за оградой, за орешником, скрипнула и откинулась калитка.

— Тимочка! — Она стояла в проеме калитки. Она — обещанная, как трудная встреча.

Всеволод Андреевич выпустил поводок, и пес рванулся к женщине, подпрыгнул, взлетел, онемев от счастья. Но в немоте он жил недолго. Он уселся перед женщиной, твердо упершись в короткий хвост, и принялся звонко лаять на нее, выговаривая. Честное слово, можно было понять, про что он толкует. А еще говорят, что собаки не умеют разговаривать. Всякий взлай его был понятен Сергею. «Где пропадала?! Почему тебя надо ждать и ждать, ждать и ждать?!»

Женщина молчала, опустила на короточки перед Тимкой, обе руки спрятав в его лохматом загривке, и молчала, ни на кого не глядя.

И на нее мужчины не глядели. Всеволод Андреевич потому, что трудно ему было глядеть. Он так и отвернулся, как отворачиваются, когда трудно глядеть, хоть и тянутся глаза, чтобы поглядеть, но им не дают воли, их утыкают в забор вот, в листву, в траву, велят следить за мурашами, ползущими у ног. А что им мураши? Они, глаза, рвутся, чтобы поглядеть, узнать, вспомнить, вобрать в себя, а их не пускают, горбясь, отворачиваясь, смежая веки.

А Сергей было взглянул, да оробел. Он таких красивых женщин страшился. Таких самонадеянных, дерзких, взысканных судьбой. Она была из этих, из взысканных. Такие сразу угадываются. И на них долго не поглядишь, жжет глаза, как от яркого солнца. Но тянет еще разок поглядеть. Сергей решил, глянул, даже заговорить решился.

— Выговаривает, — сказал он. — Где, мол, пропадала, заждался, мол.

Она взглянула на него, обожгла. И сразу все увидела: и что некалист, и что одет во что-то скверное и мятое, и что оробел, и что не пара он Всеволоду, не друг его, не приятель, а так, случайный просто встречный. Но этот случайный человек заговорил о главном, взялся переводить на человеческий язык Тимкин лай, услышав боль в нем и жалобу, и женщина неприязненно насторожилась.

— Переводчик, — сказала она. — С собачьего. Вы случайно не ветеринар?

Она распрямилась, подхватив Тимку на руки, а он был тяжеловат все же, не для рук был собачкой, и потому неуклюже повис, но он был счастлив, замер от счастья.

— Нет, я не ветеринар, — сказал Сергей. — Похож?

Он улыбнулся женщине. И ей и Тимке. Тому, как они увиделись ему сейчас. Есть внешнее в позе человека, а есть сокровенное. Он улыбнулся сокровенному в этой женщине, и жалость заволокла глаза. С чего бы? Она оставалась победоносной. Она была хороша, стройна, одета во

что-то яркое, дорогое и подчеркивающее, молодо блестящие ее с позолотой волосы. Но этот пес, повисший и замерший у нее на руках, но Всеволод Андреевич, все еще упиравшийся глазами в заборную заросль, но странность эта, когда взгляд все тот же, но отчего-то вдруг перестает обжигать, — все это пробуждало жалость, делало главным это чувство.

А женщина, возможно, сейчас жалела его. Сперва кольнула взглядом, а потом пожалела. Углядела в нем что-то такое, чтобы отдарить сочувствием. Он посочувствовал ей, она — ему. Так бывает. И как раз в первый миг знакомства. Потом минует этот миг и начинается узнавание, начинают поступать дополнительные сведения, что-то прибавляет или убавляет улыбка, сказанное слово, совершенный жест. Да, вот улыбка — это наше чудо преображения, секрет всякого лица, душа лица. Сергей улыбнулся женщине, пожалел ее, посочувствовал, но и себя отдал ей своей улыбкой на разбор, для оценки. Он — открылся. Это главным было в его улыбке: он — открывался. В доброте, в готовности помочь, в терпеливости и, кажется, в безответности. К нему, такому, с такой улыбкой, с таким кивком понимающим, и потянулся Всеволод Андреевич, будто разом друга обрел. Всеволод Андреевич и сейчас обрадовался этой улыбке, этому кивку. Скосив глаза, он заметил, что Сергей поправился, как заметил, что на Сергее очень уж жалкая какая-то курточка и что он в совсем немодных — некогда модных! — узких брюках и в узконосых ботинках.

— Знакомься, Ира, — сказал Всеволод Андреевич, гордясь своим Сергеем, но и ужаснувшись его одежде. — Это...

А кто, собственно? Всеволод Андреевич замялся, не умея растолковать, кто, да, кто ему Сергей. Никто ведь. И все-таки уже и не совсем никто.

— Знакомьтесь, Сергей. Это... — Он опять замялся, не найдя нужных слов, чтобы представить Сергею бывшую свою жену. «Бывшая жена...» — вслух не произносилось.

Тогда они сами начали справляться с тем, с чем не справился Всеволод Андреевич.

— Верно, я — Сергей, — сказал Сергей, угадав в перекрестии взглядов, что сейчас смотрят не на него, а на его одежду, и что смотреть-то не на что. — Вот, помог товарищу подбросить до дачи телевизор. А теперь хожу вот, любуюсь вашими красотоми. Славно живете.

— Славно, славно. А я — Ирина. — Она аккуратно поставила Тимку на землю, на все его четыре лапы, распыленные от удовольствия. — Когда-то была женой этого товарища. Скажите, Сергей, вы в машинах разбираетесь?

— Смотря в каких. У меня «мыльница».

— Как?!

— «Запорожец» самого первого выпуска. В народе его «мыльницей» зовут. Похож.

— А я его «самоварчиком» про себя окрестил,— рассмеялся Всеволод Андреевич.— Тоже похож. И знаешь, Ира, а сам Сергей не кто-нибудь, он — подснежник.

— Да, да,— покивал Сергей, радуясь, что Всеволод Андреевич повеселел, радуясь, что перестали они разглядывать его брюки дудочкой и узконосые башмаки.

— Господи, сколько сразу новых понятий! Какой образный ряд!— Ирина тоже развеселилась.— Подснежник, вы — подснежник? Как это? Растолкуйте.

— Юрист по образованию, зарплату получает как электромонтер, а работает воспитателем в молодежном общежитии,— сказал Всеволод Андреевич.— Словом, спрятался человек.

— Спрятался человек?— Она поморщилась.— Ты понял, что сказал?

— Ну, как подснежник. Найди-ка попробуй по весне подснежник. В талом снегу, в пористом, под валежником. Найди-ка.— Всеволод Андреевич все еще посмеивался, придерживая, не отпуская этот веселый миг в этой трудной для него встрече.

— И вы так думаете, что спрятались?— поглядела на Сергея Ирина. Он тоже прямо поглядел на нее, но от ног к лицу, как всегда смотрят мужчины на женщину. А ее взгляд уже скользнул от лица его к ногам, как всегда смотрят женщины на мужчин. Где-то в пути их взгляды встретились и подружились. Никто он ей, никто она ему, но узелок завязался. Видно, был у этого Сергея дар связывать незримые нити человеческого общения, дар общительности, что ли, хотя он не казался общительным,— было сразу видно, что он застенчив, ненаходчив. Он и ответил ненаходчиво:

— Я про себя не думаю. Избегаю.

— Зажмурились?

— Ну.

Он ей нравился, очень нравился — неказистый этот подснежник.

— Может, зайдете?— сказала она и протянула руку к своему дому, приглашая и прося этим движением.— Всеволод, зайдешь?— Для него она рукой не повела, опустила руку.— Тимка, милости прошу.— Она пошла к калитке, потянув поводок, и Тимка как-то боком, боком затрусил у ее ног, оглядываясь на хозяина.

— Зайдем, пожалуй,— сказал Всеволод Андреевич Сергею.— Взглянем, что у нее там с машиной.— Голос у него был тусклым, да и шагнул он к калитке нехотя.

— Зайдем,— кивнул Сергей, глядя, как идет эта стройная, молодая женщина, независимо шагая в пестренках своих брючках, плотноядно впившихся в ее бедра, как семенит рядом с ней Тимка, все оглядываясь, будто деля себя надвое, и как вышагивает с отрешенным видом Всеволод Андреевич.

От калитки открылся почти такой же дом, что у Всеволода Андреевича и его тетушки. Не очень большой, не очень нарядный, выстроенный без затей. Вот только окна в нем были прорезаны большие, нынешние. И такие же удивительные розы жили на клумбах. Но японского деревца, цветшего всей кроной как одним цветком, тут не было. А за домом зеленела просто лужайка в обрамлении нескольких древних, почти черных берез. У Всеволода Андреевича за домом тянулись рядами старые, раскидистые яблони.

— Где вам больше нравится? — оглянулся Всеволод Андреевич. — У нас или здесь?

Спрашивалось о простом, но вопрос был непрост. Сергей понял: на чью-то сторону ему предложено было встать, чью-то линию тянуть. А какой он судья, ну какой?!

— Не пойму! — вслух подумал он.

— Ну, ну, не понимайте, — легко отступился от него Всеволод Андреевич и вдруг напрягся, остановился, увидев грузную, седую женщину, шедшую им навстречу.

Она была слишком стара, чтобы быть матерью Ирины, но поразительным было их сходство, молодой и старой, то сходство, когда в молодом узнаешь былое, а в старом провидишь будущее.

— Всеволод Андреевич?.. — Старая женщина, разглядев, кто был перед ней, тоже остановилась. — Это как же понять?

— Бабушка! — издали крикнула Ирина. Она далеко отошла, а теперь возвращалась. — А я тебя ишу.

— Это как же понять? — обернулась к ней женщина.

— Очень просто, все очень просто. — Ирина подошла, встала со своей бабушкой рядом, плечом нашла ее плечо. — Ну, встретились, ну, позвала в дом. Соседи как-никак.

— Как-никак... Объяснила! Что ж, здравствуйте, сосед.

— Здравствуйте, Евгения Павловна.

— А ты, Тима, что молчишь, что хвост поджал? Неловко тебе? Еще бы! У собак ведь совесть есть. А совесть не раздваивается.

— Ты так говоришь, бабушка, будто нас кто-то обидел, а мы гордые, и мы обид не прощаем. Пойми, просто все изжило себя, наш брак изжил себя, а теперь — и наша ссора себя изжила, остыла. Вот и все.

— Поняла, поняла.

Две похожих женщины, кровно похожих, стояли рядом, и было больно смотреть в их лица, — в будущее одной и в прошлое другой.

— А это кто? — спросила Евгения Павловна, кивнув на зашмырившегося Сергея.

— Мой новый знакомый, — сказала Ирина.

— В Москве мы почти соседи, — сказал Всеволод Андреевич.

— Я попросила Сергея посмотреть машину, — сказала Ирина. — Что-то там в моторе происходит.

— Занятно, наш Тимка сразу же принял Сергея, как своего, — сказал Всеволод Андреевич.

— Так, так,— покивала им Евгения Павловна.— Ничего не поняла. Что ж...— Она поглядела на Сергея, и чуть потеплели ее глаза, принимая его, разбиралась эта старая женщина в людях.— Что ж, и я поведу себя, как Тимка. Милости прошу, Сергей... А по батюшке как?

— Да просто Сергей.

— Просто, просто. Все-то у нас просто. Тимка, разожмись! Ну что ты, право?

Евгения Павловна повернулась и пошла к дому, грузно ступая, но и гордо ступая. В ее осанке гордость жила, побеждая рыхлость и слабость тела, ватную непослушность ног.

И все смотрели, как она шла, и не двигались с места, будто выжидая должную дистанцию. Первым Тимка двинулся в путь. Разжался наконец. Нет, он не повеселел и не замелькал хвостом, но как-то все же освоился и затрусил следом за хозяйкой дома, принюхиваясь и вспоминая. Двинулся и Всеволод Андреевич. Не стоять же столбом. И он тоже вспоминал и чуть что не принюхивался.

— Правда, похожи?— мелькнув улыбкой, спросила Ирина у Сергея.

— Вспоминают,— кивнул Сергей.

— Одному, может, и кстати вспомнить, но другому...

— А вот кто похож, так это вы с Евгенией Павловной,— сказал Сергей.

— Буду такой же?

— Она была такой же.

— Что вы, куда мне до нее. Я еще помню, какой она была. Властительница. А я, что я,— дамочка в брючках. Брошенная жена.

— Ведь изжило же, остыло.

— Слова! Не хочется перед вами притворяться. Слова!

Они все еще стояли на месте, и Тимка остановился, оглянулся, взлажал коротко, зовя свою бывшую хозяйку, требуя от нее, чтобы не обрывала ниточку, вдруг вот снова протянувшуюся между ней и хозяином.

— Иду, иду. А кстати, почему это мне не хочется перед вами притворяться? Как думаете?

— Незачем.

— Это — ответ?

— Конечно.

— Незачем... Какое слово печальное. Прощальное.

— Разве?— не понял и улыбнулся Сергей. И вдруг восхитился:— Нравится мне ваш Тимка! Смышленный пес.

— Теперь не мой. При разделе имущества отошел к Всеволоду.

— Сам выбрал или за него решали?

— Обстоятельства решали. Бабушка стара, а я часто уезжаю.

— Что за работа у вас, если не секрет?

— Устраиваю передвижные выставки. Искусствовед, как принято говорить.

— Интересная работа.

— Издали все интересно.
— И вблизи интересная. Но нужно призвание. Ваше это дело?
— Вроде бы. Местами.— Ирина повела рукой, будто что нашаривая в воздухе.— Много глупости, много болтовни в этом деле. Заказенно многое, облеплено словами.

— Верно, верно.
— Ну, вам виднее. Со стороны-то,— она усмехнулась.— Со стороны всегда виднее.

— Верно, верно.
Сергей покивал ей, соглашаясь:
— Что — верно? — Она вдруг рассердилась, колко глянула.— Вранье это, что со стороны виднее! Чепуха! Самому, самому надо носом во все тыкаться, чтобы понять!

Сергей покивал ей, соглашаясь:
— Верно, верно.
— Вы так и будете все время мне кивать да поддакивать?
— Ну раз правильно говорите.
— Так я же не соглашаюсь с вами.
— Не со мной, с собой. А со мной вам незачем спорить.
— Незачем! Прилепились к словечку! Ну что вы за человек? Откуда такой взялись? Я будто сто лет с вами знакома. И вот, даже покрикиваю на вас. Кто вы? Отчего вы так вырядились жалко? Притворство? Бедность? Плевать на все? Ох, господи, учинила допрос! Молчите! Вы не должны мне отвечать! Просто мне худо, худо! Понимаете?

— Ага.
— И вам, наверное, не сладко?
— Живу.
— Поняла! Нашла! Вот оно слово, которое все примиряет! Живу!
Вот оно — это слово!

Тимка опять коротко залаял, позвал, ибо ниточка между дорогими людьми совсем уж истончилась.

— Иду, Тимсчка, бегу!
Ирина побежала по дорожке, рукой зовя Сергея, и он было тоже побежал, но тут же опомнился, как бы со стороны на себя глянул, и резко оборвал этот смешной бег. Со стороны он себе жалок показался. В ушах еще не отжили звук ее голоса и эти слова ее: «Отчего вы так вырядились жалко?» И хотя ответ был не труден,— он ведь подрабатывал сегодня, а не в гости ехал,— все равно, ее глазами он на себя сейчас поглядел. Повернуться бы, да и назад, за калитку. Добежать бы до машины, да и рвануть отсюда. Что ему — этот Всеволод, эта Ирина, их раздоры в этих Раздорах? Дома ждал сын. Мать ждала дома. Там было настоящее, а здесь муть какая-то. Там он был отцом и сыном, нужным и любимым, а здесь жалким каким-то оказался, вовлеченным в круг чужой для забавы, от скуки. Сергей нацелился глазами на дорожку, которая резко поворачивала назад, ступил на нее, уже решившись на побег. Но тут его Евгения Павловна позвала:

— Сереженька, я жду вас!

«Сереженька...» Единым этим словом старая женщина спеленала его волю, и он побрел на зов, наперед покорясь своей здесь нелепой какой-то участи.

— Гляжу, удрать вздумали? — спросила Евгения Павловна напрямик, когда Сергей подошел к ней. — А мне тут как одной с ними? Не подумали?

— Управились бы.

— Кабы знать, с чем управляться. Вот посоветуйте, что же мне, за стол их звать — бывших-то супругов, чайком их потчевать?

— Пожалуй.

— А на мой характер, уж разъехались так разъехались.

— Генеральский у вас характер, сразу видно.

— Вот и ошиблись. Я вдова маршала.

Они как раз в дом через веранду вошли, и первое, что увидел за распахнутыми дверями Сергей, был большой портрет Маршала. Из всех героев войны это был главный герой для Сергея. Он знал этого Маршала и любил с детства. Все про него знал. Про его дерзкие победы, про то, каким был он смелым, великодушным, как любили его солдаты. Вернувшись с войны, отец не устал рассказывать маленькому Сергею о своем Маршале. Это был главный человек на Земле для отца, служившего в войсках, которыми командовал Маршал. Вместе они прошли долгий путь войны, — сержант Андрей Скворцов и Маршал. Несколько раз сержант видел своего Маршала, слышал его голос, призывный и звонкий, влюбленными глазами следил за всяким его движением, гордясь, что так высок его Маршал, так строен и пригож. Смерть Маршала Андрей Скворцов переживал тяжело, будто мир померк. Маленькая цветная фотография вот с этого самого портрета, что открывался сейчас глазам Сергея, была в их семье реликвией, хранилась в бабушкиной шкатулке вместе с орденом Красной Звезды и медалями отца. До последнего своего часа отец не расставался с этой фотографией, она стояла у него на тумбочке возле больничной койки.

Так вот в чей дом он вступил, с чьей женой и внучкой разговаривал! Тут все было свято, тут все было для Сергея заповедно.

— Очнитесь же! — взяла его за руку Евгения Павловна. Голос ее смягчел, она была счастлива, что портрет мужа так поразил Сергея, она поняла, что ее Маршал был и для этого молодого человека не пустым звуком, как для иных для некоторых. Да, да, что для нынешних былая слава, бывшее громкое имя? Они заняты собой, только собой.

— Отец рассказывал мне о вашем муже, — сказал Сергей. Он заговорил шепотом, как говорят в музейных залах. — Отец никогда не забывал его. До последнего своего дня...

— Они вместе служили? Может быть, я его знаю? — ожил и помодел голос старой женщины, а в лице ее зажила готовность к слезам.

— Нет, что вы. Он был одним из сотен тысяч, он был сержантом.

— Но он знал маршала, встречался с ним? — Она ждала чуда.

— Издали видел, слышал голос.

Нет, чуда не произошло, отец этого Сергея слишком далек был от ее мужа, голос из бывшего не зазвучал.

— Все равно вы для меня как родной, — сказала Евгения Павловна, померкнув, вернувшись в свое сегодня. — Вы хоть помните...

— Дед был не таким, как на этом портрете, — сказала Ирина. — Портрет не удался, как, впрочем, все у этого льстивого художника.

Ирина сидела у журнального столика в глубине большой комнаты, где даже камин был. Ее в той глубине было плохо видно, и Сергей подошел поближе, чтобы ответить. Еще дальше, еще в большей затененности расположился в кресле Всеволод Андреевич, привычно повернувшись лицом к невключенному экрану телевизора. Таких громадных экранов Сергеем видеть еще не доводилось. В его матовой, тусклой поверхности тускло же отражалась почти вся комната. И себя самого Сергей увидел в этом экране, но как бы в мглистой дали, из которой идти сюда и идти.

— А мне этот портрет нравится, — сказал Сергей. — Художник любил и уважал вашего деда. Это видно.

— Еще бы не любить и не уважать! — усмехнулась Ирина. — Он же у нас национальный герой. Я с первого класса школы это бремя ношу.

— Бремя? — не понял Сергей.

— И еще какое. Я никогда не была сама собой, а была внучкой знаменитого полководца. Мои пятерки в школе и не мои вовсе. В университет я была принята чуть ли не заглазно. Да вот и муженек мне достался чуть ли не заглазно. Из прекрасной военной семьи, с прекрасным будущим, международник. Бери, Иришенька, все для тебя, все самое лучшее. Надо бы вам знать, что Всеволод в нашей среде считался женихом из женихов, а я, видимо, первой невестой. Вот и сладились два первых номера.

— Ирина, опомнись, о чем ты толкуешь?! — издали, глухо как-то, будто из глубины мерклого экрана, окликнула внучку Евгения Павловна.

— Толкую на тему о портрете, бабушка. Он писался льстивой рукой, а я жила в льстивом мире. Но не стало деда, и выперла эта лесть красок, эта чрезмерность обожания, как и выперли все мои в жизни углы. Кто-то сказал из умных, что былая слава хуже ржавчины. Это касается и наследников.

— В мой огород камушек, как я понимаю, — сказал Всеволод Андреевич. — Женился, мол, по расчету.

— Но не по любви же?

— А вы, сударыня? Оказывается, чуть ли не заглазно на меня соглались.

— Оказывается. Оказывается.

Странен был этот разговор для Сергея. Не откровенностью своей при нем, посторожнем, — он откровенных разговоров понаслушался в жизни, он знал, что как раз при посторонних-то и откровеннича-

ют, — странен был этот разговор потому, что зазвучал в музее. Здесь все вокруг было музеем. От портрета начиная — и дальше, дальше по стенам, на которых множество вывешено было фотографий, каждая из которых была историческим документом, полнилась знакомыми и знаменитыми персонажами Великой войны. Здесь возможен был лишь почти-тительный шепот, а еще лучше — благоговейное молчание.

Сергей пошел вдоль стен, узнавая, дивясь, он даже ахал тихонечко. Он ахал нарочно, чтобы те двое замолчали. Ведь отболело же все, сколько раз уже выяснялось все, обговаривалось, — так зачем же здесь-то? Или не отболело? Эта маленькая девочка, сидящая на ручке кресла возле своего деда, трогаящая пальчиком один из бесчисленных его орден, это она, та женщина, только что пожаловавшаяся вслух на незадавшую свою жизнь? Не хотелось в это поверить.

А Ирина опять заговорила:

— Не жаль, что расстались, жаль, что сходились. Смешно! Шубу покупаешь и сто раз прикидываешь, на свет выносишь, советуешься. А замуж идешь с одного кивка.

— Иришенька! — издали окликнула внучку Евгения Павловна.

Она тоже у стены стояла, тоже к фотографиям приглядывалась, но видно было, что глаза ее ничего не различают, что вся она ушла в слух. Больно было ей слышать этот голос за спиной, наигранную усмешку в нем, боль в нем.

Всполошился Тимка, вздремнувший было посреди комнаты на ковре. Он вовсе не дремал. Он тоже слушал, строго поделив свое внимание между тремя близкими ему людьми, строго отыскивая такое место, чтобы до каждого равный пролегал путь. Он слушал, и поскольку в семь раз более чутко собачий слух, чем у человека, нестерпимой болью изнывало его собачье сердце от этого разговора. Вмешаться он не мог, но он мог вскочить, встряхнуться, так что зубы залязгали, заскулить мог.

— Что, пошли, Тимоха? — поднялся из кресла Всеволод Андреевич. — Тянул, думал, колбаски тебе поднесут, а про тебя и забыли.

Но Тимка за Всеволодом Андреевичем не последовал, когда тот двинулся к двери. Тимка сел посреди комнаты, уперся на хвост и начал лаять, отрывисто и глухо.

Всеволод Андреевич остановился, повернулся к Тимке, стал внимательно его слушать.

— Ругается. Бранит на чем свет стоит. Так что же, не уходить? — Всеволод Андреевич поглядел на Ирину.

— Программа вечера еще не исчерпана, — сказала она. — В девятнадцать сорок пять некий международник выступает по телевизору. Ждать уже недолго.

— И ты будешь смотреть?

— Непременно. Мы с бабушкой всегда тебя смотрим и жалеем.

— Жалеем?

— Ну, сочувствуем.

— Вот как? Это почему же?

— Да разные тому причины. Так сразу не скажешь. Оставайся, посмотрим вместе. Вот Сергей пусть посмотрит.

— Я готов,— кивнул Сергей.— И Тимка, видать, согласен. Смолк.

— И даже разлегся опять,— сказала Евгения Павловна.— Вот кто искренен, так это Тимка. Его хоть понять можно.

— Усаживайтесь, господа, прошу.— Ирина подошла к телевизору, включила его.— Сейчас промелькнут мультяшки, а потом явится нам пророк в своем отечестве.

— Каковых не бывает,— сказал Всеволод Андреевич. Он вернулся к креслу.— Да, а как же тетушка? Она будет ждать меня.

— Сейчас позвоню ей, позову,— сказала Евгения Павловна. Она решительно шагнула к столу с телефоном, решительно, порывистыми движениями набрала номер.

В наступившей тишине было слышно, как отозвались в трубке длинные гудки, как потом ожил голос Зинаиды Васильевны.

— Да, слушаю. Вам кого?

Видимо, оттого, что дачи их были почти рядом, так громко, так отчетливо был голос Зинаиды Васильевны.

— Зина, это я, Евгения. Ты не удивляйся... Тут Всеволод у нас со своим приятелем. Так вот, мы ждем тебя, будем вместе смотреть выступление твоего племянника.

— Ох, бабушка! — шепотом вырвалось у Ирины. Она взглянула на Сергея, поясняя: — Ведь они не разговаривают с тех пор.

В трубке долго не было ответа, а потом вызвенившийся возник голос:

— Хорошо, сейчас буду.

Евгения Павловна опустила трубку, свела трясущиеся руки, устало повторила:

— Сейчас буду... Военная косточка!

6

Шел мультфильм. Не очень занятный, но все равно была в нем важная мысль. У этих рисованных людей и зверей всегда настоящие заботы, про главное у них всегда разговор. О верности, о предательстве, о смелости, о трусости. Мультяшки эти, как их назвала Ирина,— они всегда от притчи, от истока, даже если их делают заскучавшие ремесленники.

Шел детский фильм, мелькала сказочка, а взрослые люди не отводили глаз от экрана, смотрели молча, сосредоточенно. И, кажется, и Маршал смотрел на экран, следил за событиями.

Зинаида Васильевна, как вошла, села поодаль, у дверей на веранду. Вступать сразу же в разговор ей, к счастью, не пришлось, уже включен был телевизор, и можно было, лишь кивнув с порога, сделать вид, что ее заинтересовало все происходящее в доме медведя-волшебника. Подалась вперед, уперлась подбородком в руку, замерла так, ни на что вокруг не желая смотреть. Ни на племянника своего, незнамо зачем очутивше-

гося в этом доме, ни на его бывшую жену, сидящую почти рядом с ним — руку только протяни, ни на свою бывшую подругу, с которой все порвано, все кончено и которая тоже вот сидит, глупо уставившись на экран. И еще этот некий Сергей, некий подснежник, зачем-то извлеченный на свет божий Севой. Что задумали? Зачем собрались? Рубить так рубить. А она-то, она-то сама хороша. Только кликнули — и побежала. Не нашлась что ответить. «Сейчас буду!» Безволие это, матушка!

Сергей так сидел — он в углу примостился, — что был ему виден и экран, и те, что были перед экраном. Он мог поглядывать на их лица, не поворачивая головы, чуть только скашивая глаза. Он видел, как томится сухонькая старушка, уткнувшая подбородок в сухонькую руку. Старушка замерла, но глаза у нее беспокойно поблескивали, спрашивали, негодовали. Шибкий разговор сейчас вела про себя эта старушка.

А Евгения Павловна? И ее выдавали глаза. Также замерла, будто занятая сказочкой, но не отвечивал экран в ее зрачках, в себя ушла мыслями. Прямо за ее спиной висел портрет Маршала. Он был ее мужем, этот человек на портрете. Неверно, что портрет не удался. Неверно, что он был написан лстивой рукой. Жило лицо на портрете, жили глаза. Того гляди, спросит о чем-то Маршал.

А эти двое, из-за которых, казалось, даже воздух напрягся в комнате, из-за которых даже собака вот извертелась и издергалась, не зная, куда голову обратить, а они были невозмутимо спокойны. Так ли? Сергей косил, вглядывался. Спокойны. Косолапый мишка мерцал в их глазах.

Заканчивался фильм, прекрасную внушая мысль: злomu — черепки, а добромu — награда.

Сергей перестал изучать лица, о себе задумался, в свою ушел жизнь. Детская картинка эта дотронулась мягкими ладонями до его плеч, согрела будто. Напомнила. Не понять, что, из какого времени, какой миг, но напомнила. И был тот миг добрым, теплым, мягким. Даже запах у него был. Добрый запах. Так пахнет в детстве. Надо, пожалуй, обзавестись телевизором. Для сына. Он из-за сына и не покупал телевизор, страшась, что этот ящик каждый шаг будет напоминать мальчику о его беде. Слишком много спорта исходит из этого ящика, люди на экране бегают, прыгают, кувыркаются, а парень его едва может ходить. Думалось, пусть читает книжки. Приохотился — вот пусть и читает. Умным растет, много знает уже, не по годам. Вот пусть таким и растет, когда слабость тела восполняется силой разума. Но нет, никуда не спрятаться от этого ящика, сын к соседям стал наведываться, и жадно смотрит, как бегают, прыгают, кувыркаются. Надо купить ему телевизор. Пусть смотрит и эти добрые сказки, все пускай смотрит, чем мир живет. Не отгородить, не защитить ему сына от горьких минут, когда будет сознавать свою немощь, сравнивая себя с теми, что на экране. И самому не отгородиться, не спрятаться, не заткнуть уши от этого крика в себе. Кричит душа.

А ведь был он счастлив. Как вот эти двое, не ведающие, что они счастливы, что все их беды, ссоры, разрывы, что все это — счастье, одно только счастье. Глупцы! Слепцы! Счастливыцы!

Да, он был счастлив. Была жена, сын, здоровый и веселый маленький мальчик, только лишь начинавший свои «почему?». Все было, все оборвалось. Это называется «несчастливым случаем». Ехал автобус по загородному шоссе, ехал навстречу грузовик. Дождик вдруг заморосил. О, кабы не было этого дождика! И еще чего-то, и еще чего-то не было бы... Но все было, как не смеет быть в жизни, все сошлось против жизни в тот миг на шоссе, почерневшем от дождя. Столкнулись машины, погибли и изувечились люди.

Кончился фильм, засветился экран, выплыла, взошла на него торжественноликая дикторша. У этой женщины все в жизни было в порядке, все о'кей, даже глуповатым казалось ее прекрасное лицо от счастья и довольства. Даже самодовольным.

Увидев эту женщину, Ирина ожила, сонные ее глаза осветились.

— О сегодняшних проблемах Латинской Америки расскажет журналист-международник Всеволод Андреевич Кудрявцев, — объявила прекрасная дикторша, ширя прекрасные глаза навстречу загадочной Латинской Америке, и, видимо, загадочному журналисту-международнику.

— Она всегда теперь объявляет тебя? — спросила Ирина. — Вы теперь там с ней неразлучная парочка?

Красавица еще миг померцала ресницами, неподвижную удерживая улыбку, и истаяла в эфирных глубинах.

— Что молчишь? — спросила Ирина. — Теперь тебе таиться незачем.

— Сейчас заговорю, — сказал Всеволод Андреевич.

Он, как мог, был безучастен ко всему, он послеживал за собой, чтобы не выдать своего интереса к надвигающемуся мгновению. А надвигался он сам на себя, вдруг возникнув крупно на светящемся экране.

Сергею показалось, что Всеволод Андреевич вошел в комнату и сел в кресло напротив. Спокойно уселся, спокойно и благожелательно глянув на Сергея. Но рядом, сбоку, сидел еще один Всеволод Андреевич и смотрел на экран. На себя самого.

Все же это были два человека, а не один и тот же. У того, на экране, один просматривался характер, у этого, в комнате, — другой. Тот, на экране, был и впрямь загадочен. Он был облечен доверием, ему предстояло выполнить некую важную миссию, он знал что-то такое, что было интересно для миллионов.

А этот, в комнате, наигрывал безразличие, но волновался, дорожа мнением тех, кто был здесь в комнате с ним рядом, дорожа и его, Сергея, мнением. Но более всего хотелось ему произвести впечатление на свою бывшую жену, самую главную сейчас для него зрительницу из всех возможных миллионов. Он хотел ей понравиться? Зачем? Все ведь позади у них. Может быть, он хотел причинить ей боль? Вот, мол, кого потеряла. Но, похоже, не она ушла, а он ушел. И, кажется, к той вон, что истаяла в эфире. Ничего невозможно было понять. Видно только было, как волнуется человек, наигрывая безразличие, в странный этот миг встречи с самим собой.

— Полный эффект присутствия,— прокашлявшись, молвила Зинаида Васильевна. И она волновалась. Забылась даже, привстала, пересела на стул поближе к двум своим Всеволодам.

— Тот, что на экране, многозначительней, пожалуй,— тихонько проговорила Ирина, угадывая чужие мысли.— Как это, «коэффициент популярности» от него исходит. Кстати, Всеволод, возрос ли у тебя этот коэффициент?

— Иришенька, помолчи,— сказала Евгения Павловна и начала ужимать ладонью вдруг заболевшие глаза. Ей без надобности был этот Всеволод — и сам он и образ его на экране. У нее глаза разболелись, потому что в насмешливом голосе ее внучки не утихла боль.

А экранный Всеволод Андреевич тем временем начал свой рассказ. Все, все он знал про Латинскую Америку. Это сразу же стало понятно слушателям. Знает человек дело, Латинская Америка для него — открытая книга. И Аргентина, и Венесуэла, и даже Суринам, о котором Сергей впервые в жизни слышал, не говоря уже о Гваделупе и Фолклендских островах,— все, все они были ведомы Всеволоду Андреевичу, он знал, как им быть, что им делать.

Тот — знал, решал за целые страны, а этот, в кресле перед экраном, не знал даже и того, зачем он очутился в этой комнате и почему его так волнует мнение его бывшей жены о том, каков он на экране. Тот знал все, этот — ничего. Даже пес Тимка знал поболе своего хозяина.

Господи, зачем так плутают по жизни люди?! Зачем накручивают, усложняют, коверкают все? Не ведают, что такое настоящее горе? От скуки мудрят? От счастья, того не ведая, что счастливы, не дорожа тем, что имеют?

В Чили было худо. Там тысячи людей томились в застенках. Там убивали детей и женщин. Он знал об этом, всезнающий Всеволод Андреевич, как убивают детей и женщин. Нет, он не знает об этом. Ничего не знал про то, как убивают, как умирают люди. Дети... Женщины...

...Когда опрокинулся автобус,— а сперва глухой удар был и звон стекла,— когда опрокинулся автобус и начал сминаться, как мнется конфетная серебряная бумага, когда опрокинулся автобус, закричали дети и женщины, закричали мужчины, и этот крик все время кричит в нем, разламывая виски. То притихает, то взрывается, то отбегает, то возвращается, но все время живет в нем — этот крик. Сейчас он вернулся, взорвался. И вернулась, встала в глазах полоса черного шоссе, в лес и в небо упершаяся полоса, и он бежит по этой полосе, неся на руках женщину и мальчика, и эта ноша не тяжела ему, он мог бы и взлететь с этой ношей, но не знает, куда лететь,— вокруг все черно, и крик, крик...

Куда-то в туман ушел знаток Латинской Америки, меркнуть стал сияющий экран в глазах Сергея. Он подумал было, что это из-за помех каких-то. Но и комната померкла в глазах, затянулась серой пеленой. Он понял, что это с ним, что это в нем творится, что это взорвался в нем примолкший было крик. Когда так начинала кричать душа, набе-

гали на глаза слезы. Он страшился их, этих мгновений своей слабости. У него был сын, искалеченный мальчик, которому нужен был сильный отец, стойкая опора. И когда приходила слабость, набегал этот крик, Сергей умел скрыть ото всех свою боль, затаивался где-нибудь, перемогался в одиночку.

Но сейчас он был на людях. И невозможно было вскочить и убежать. Он поискал глазами спасение, пошарил в тумане, ища хоть какой-то для себя помощи, хоть малого просвета. Все сейчас смотрели на экран, всем было сейчас не до него, и это принесло облегчение. Он был на людях, но один. И только Маршал смотрел на него, встретился с ним глазами. Спокоен был взгляд Маршала. Сильный и чистый в его глазах жил свет. Он проструился к Сергею через туман. И полегче стало Сергею. Потому что никто не глядел на него и потому, что приструился к нему этот сильный и чистый свет. Вот почему отец даже в больницу взял с собой портрет своего Маршала. Теперь Сергей понял. Так вот почему! Отец готовился к страшному, и ему нужен был сильный и чистый свет в обступавшем мраке. Надо во что-то верить, в кого-то верить — изо всех сил души. Беззаветно. Преданно. До последнего вздоха. Солдат верил в своего Маршала. С этой верой и умер, не смятый жалким страхом перед смертью. Может быть, он в атаку поднялся за этим лучиком света. Ранулся, а не сжался в миг последний, не пал, а выпрямился. Как знать?! У отца было спокойное и смелое лицо по ту сторону жизни.

Вот он где сейчас, вот у кого в доме. Полегче стало Сергею, посмелей глянули глаза, развиделось.

Кто-то тронул его руку. Он глянул: к нему по ковру подполз Тимка и ткнулся и раз и другой в руку. Сергей быстро наклонился к Тимке, благодарный ему безмерно. От Тимки солнечно пахло сухим спичечным коробком. Этот запах, такой запах был ведом Сергею лишь в детстве. Только тогда так обольстительно мог дышать спичечный коробок.

— Сергей, что с вами? — спросила Ирина. — Что это вы там с Тимкой целуетесь? Господи, да у вас слезы в глазах!

Как раз кончил свой рассказ о Латинской Америке Всеволод Андреевич, предательски ярко засветился экран.

Сергей поднялся. Все сейчас смотрели на него, и некуда ему было отвести глаза. Вот только на Маршала можно было посмотреть, за этот лучик света ухватиться.

— Вспомнилось... — хрипло сказал Сергей и пошел к дверям. Вдруг обернулся, вдруг выкрикнулось у него: — Зачем вы так? Перед ним! — Он протянул руку к портрету. — Горя вы не знаете! Вы простите меня...

Он кинулся за дверь. Тимка кинулся следом, протестуя лая.

Так и пробежали они через сад, так и выскочили за калитку. Тимка настиг Сергея и лаял, лаял. Не злобно, нет, а как-то иначе. Выговаривал,

может быть? За что? Не довел, мол, дела до конца? А как его доведешь? Пусть сами, сами.

Тимка проводил Сергея до машины. Он больше не лаял. Понял, что уедет человек, не удержаться.

— Прощай, Тима,— опустив стекло, сказал Сергей.— А то ты им помоги, раз ты такой умный. Скажи им: ребята, не дурите, ведь мне трудно жить, когда вы врозь. Вот так прямо и скажи.

— Сергей Андреевич! Сергей! — запыхавшись, подбежал к машине Всеволод Андреевич.— Куда же вы так?... — Смущенным движением, чуть ли не робким, он протянул Сергею зажатую в пальцах десятку.— Ведь помогли... Время потеряли...

Сергей спокойно взял у него деньги.

— Не много ли?

— Что вы, что вы!

— Ну, прощайте,— сказал Сергей.— Помириться. А?..

Кургузая его машинка рывком стронулась с места, заспешила домой.

...А доброму — награда.

СОДЕРЖАНИЕ

Мемуары	3
Подснежник	16

Лазарь Викторович КАРЕЛИН

ПОДСНЕЖНИК

Рассказы

Редактор Л. М. Наточанная

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 13.04.88. Подписано к печати 10.06.88. Формат 70×108^{1/32}.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.
Усл. кр.-отг. 2,28. Учетно-изд. л. 3,31. Тираж 150000 экз. Заказ № 2299.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.